

Пути небесные. Том II

Иван Шмелёв

Содержание

- [I БЛАГОВЕСТИЕ](#)
- [II ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА](#)
- [III УЮТОВО](#)
- [IV РАЗГОВОР В СУМЕРКАХ](#)
- [V БЛАГОСЛОВЕННОЕ УТРО](#)
- [VI СВЯТИТЕЛЬ](#)
- [VII ОТКРОВЕНИЕ](#)
- [VIII МИГ СОЗЕРЦАНИЯ](#)
- [IX ВЫСШАЯ ГАРМОНИЯ](#)
- [X ЗЕМНОЙ РАЙ](#)
- [XI ПСАЛМЫ](#)
- [XII ВЕЩЕЙ РОЙ](#)
- [XIII ДЕЛАНИЕ](#)
- [XIV АЛЛИЛУЙА](#)
- [XV РАБА БОЖИЯ ОЛЬГА](#)
- [XVI РОМАНТИКА](#)
- [XVII В ДЫМУ КАДИЛЬНОМ](#)
- [XVIII ЖИЗНЬ ЖИТЕЛЬСТВУЕТ](#)
- [XIX ПОДНЯТИЕ ИКОН](#)
- [XX ИСПЫТАНИЕ](#)
- [XXI ПРОЯВЛЕНИЕ](#)
- [XXII ПОКЛОН](#)
- [XXIII ЯВЛЕНИЕ](#)
- [XXIV ЕЩЕ «ЯВЛЕНИЕ»](#)
- [XXV СПОКОЙСТВИЕ](#)
- [XXVI ПОЧЕМУ?](#)
- [XXVII ДВИЖЕНИЯ ДУШИ](#)
- [XXVIII НАПУТСТВИЕ](#)
- [XXIX «ВЗРЫВ»](#)
- [XXX В ОПЬЯНЕНИИ](#)
- [XXXI У КОЛЫБЕЛИ](#)
- [XXXII ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ НЕБЫТИЯ](#)
- [XXXIII РАЗРЯЖЕНЬЕ](#)
- [XXXIV СВЕТ ИЗ ТЬМЫ](#)
- [XXXV ПРЕОДОЛЕНИЕ](#)
- [XXXVI ПОБЕЖДАЮЩАЯ](#)
- [XXXVII ПОСТИЖЕНИЕ](#)
- [XXXVIII ЧУДЕСНОЕ](#)
- [XXXIX МИКОЛА-СТРОГОЙ](#)
- [XL «ИЗ УСТ МЛАДЕНЦЕВ...»](#)
- [XLI ТЛЕН](#)
- [XLII КРУЖЕНЬЕ](#)
- [XLIII К НИКОЛЕ-МОКРОМУ](#)
- [XLIV СКРЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ](#)
- [XLV ЧИСТЕЙШЕЕ](#)

- [XLV ИСПЫТАНИЕ РАССУДКА](#)
- [XLVII СМЯТЕНЬЕ](#)
- [XLVIII СКАЗКА О САМОЦВЕТАХ](#)
- [XLIX «ПРИШЕДШЕ НА ЗАПАД СОЛНЦА...»](#)
- [L НОВОСЕЛЬЕ](#)
- [LI ВЫСОТА, ЧИСТОТА, НЕДОСЯГАЕМОСТЬ](#)
- [LII ЧУДЕСНЫЙ ОБРАЗ](#)
- [LIII «БЛАГОСЛОВЛЯЮ ВАС, ЛЕСА...»](#)
- [LIV ПУТИ В НЕБЕ](#)
- [КОММЕНТАРИИ](#)

І БЛАГОВЕСТИЕ

В Уютове, под Мценском, прошла самая важная часть жизни Дарьи Ивановны и Виктора Алексеевича.

В «записке к ближним» Дарья Ивановна называет уютовскую жизнь светлым житьем и отмечает, что там им было даровано вновь родиться. По словам Виктора Алексеевича, там он постиг радость бытия и благодарения:

«Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи...»

Когда он постиг это, восходя ступенями трудными, ведомый своею «Побеждающею», как назвал Дариньку старец Варнава у Троицы, постиг он и другое важнейшее: все в его жизни, до мартовской встречи на бульваре с бесприютной девушкой, и после этой знаменательной встречи, было как бы предначертано в Планае наджизненном. До сего постижения ничего «предначертанного», вне его воли, для него не существовало, казалось порождением недомыслия или больного воображения. Что за вздор! — усмешливо отзывался он на робкие попытки Дариньки, старавшейся открыть ему пути в ее «четвертое измерение», в ее «там... там». Он любовался прелестной ее беспомощностью, шутил над ее «там... там», выстукивая и подпевая: «Там-там... там-та-ам!..» — а она поднимала перед собой руки, как бы ограждая свое святое от горшего осквернения. Этого «там» она не могла бы ему доказать, будь даже доктором богословия. Она только шептала с кроткой укоризной: «Это сердцем надо, это-у Господа». До его вразумления, или, скорей, дарованного его откровения, проявившегося в одном событии уютовской их жизни, это ее «у Господа» для него было то же, что для калужского мужика квадратный корень. До случившегося прозрения он не постигал, что раскрывается это только сердцем и, может быть, вдохновением, когда «божественный глагол до сердца чуткого коснется». Замечательно выразил это поэт Гафиз, язычник. Виктор Алексеевич когда-то пометил его стихи вопросительным знаком и припиской «поэтическая вольность»:

Гафиз! зачем мечтаешь,
 Что сам творишь ты песнь свою?
 С предвечного начала
 На лилиях и розах
 Узор её волшебный
 Стоит, начертанный в раю!

Я и не подозревал, что мой «узор» тоже уже начертан с предвечного начала, как бы задан мне: выполняй. И, что особенно примечательно, указываются некие пути к распознаванию узора, некие знаки-знамения, как вехи, чтобы не сбиться с пути в метель. Ну, как вот снисходительный учитель намеками наводит ученика на разрешение задачи. Еще задолго до прозрения моего не раз замечал я это наведение, но сводил все к случайности. Помню, меня удивило совпадение: письмо от питерского приятеля, советовавшего мне принять службу в Мценске, и в самое то утро бросилось мне в глаза газетное объявление, набранный крупно заголовок: «ПОД МЦЕНСКОМ, по случаю семейного раздела, дешево продается усадьба...» Теперь я знаю, что это была — веха. И, слава

Богу, мы не проглядели ее. Не я — Даринька не проглядела, сказала, осветившись: «Хочу... так хочу!., там будет хорошо». Словом, Уютово далось нам в руки как бы само. Даринька вдохновенно нашла узор.

Как бы в подтверждение, что избранный путь — верный, Даринька, еще и не видя Уютова, почувствовала в сердце благовестие. Об этом вспоминает в своей «Записке»:

«Всю дорогу радовалась я приволью лугов и рощ, как в детстве, когда ходили с тетей на богомолье. Совсем забыла, какая стала нечистая. А как подъезжать к Мценску, утратилась, какие новые испытания посланы будут мне за грех мой. И возвала к Пречистой: „Призри на смирение мое, всепетая Богородица...“ И, в радостном свете, услышала благовестие».

Был тихий июньский вечер, в червонном солнце, когда поезд подходил к станции Мценск. В купе директорского их вагона солнце лежало теплыми пятнами на малиновом бархате обивки, сияло на хрустале графина, на бронзе и подвесках стенных подсвечников, на лакировке, и от этого света было пасхально-радостно.

— Гляньте-гляньте, милая барыня... яички-то наши христосованные стали!.. — захлебнулась от радости Анюта.

И правда: яйца, чашки, молоко в бутылке... — все было радостное, пасхальное. Пахло свежими огурцами, земляникой, сеном с покошенных откосов, с лугов недалеко Зуши. Золотой купол белостенного собора открылся им на горе, и донесло различный звон мценских колоколен. Даринька крестилась на завидневшийся городок и, залитая пасхальным светом, сказала, в себе: «Как хорошо, Господи... светло, и блавест».

Этот свет и этот блавест-встречу приняла она сердцем как благовестие.

Виктор Алексеевич помнил этот пасхальный свет, покоящий блавест и затаенно-радостное лицо Дариньки. Давно не видел ее такую просветленной. Подумал: почему она так насторожилась, радостная тревога в ней? Он взял ее руку и молча поцеловал. Она не отозвалась, — была где-то, в своем.

Они приехали в Мценск в четверг — думалось тогда Дариньке, — и она удивилась, услышав блавест: кому же празднование завтра? И вспомнила: 24 июня. Рождество Крестителя Господня! Она очень почитала этот праздник; с этим связывалась больная ее тайна. Вспомнив, какой день завтра, она трепетно затаилась. Виктор Алексеевич спросил, что ее так хорошо встревожило. Она смутилась: «Так, хорошо... звон...» — и закрыла лицо руками. Он любовался ее смущеньем, спросил опять, что с ней. Не отнимая рук, она сказала:

— Вспомнила, завтра память Крестителя Господня. Как хорошо, на наше новоселье.

С возвращения из Петербурга, уже с полгода, он не помнил ее такой. После страшного и странного, что было с ними, когда он, казалось, безвозвратно ее утратил, прежнюю, с осветляющими глазами, какую встретил в келье матушки Агнии в душный июльский вечер, и все полней раскрывавшуюся ему в новых ликах и обаянии; после ее отчужденности от него и от жизни, Даринька снова явилась в светлой своей нетронутости. Он хотел видеть ее глаза, но они прятались в смущенье. И вдруг понял, почему она в радостной тревоге; важное для нее связывала она с Крестителем, — страстно желанная возможность, утраченная после тяжелого недуга: носила поясок с молитвой, читала, молясь, «Славу» Крестителю, — «Ангел из неплодных ложесн произошел еси...» — как-то она ему открылась. И вот на пороге новой жизни блавест их встречает — благо-вещием. Он почувствовал к ней жалеющую нежность и не стал тревожить.

За блавестием последовала приятная неожиданность.

Поезд подходил к задымленному вокзалу Мценска. Высунувшаяся в окно Анюта радостно

визгнула: «Офицериков-то сколько, ма-тушки-и!..» Это были путейцы-инженеры, в белых кителях, парадно. Виктор Алексеевич удивился, почему такой «сбор всех частей», но это сейчас же объяснилось.

Это были сослуживцы, из Орла и Тулы. Начальник дороги, имевший счеты с Петербургом, дал знать по линии: выразить Вейденгаммеру товарищеские чувства. Все понимали, что с Вейденгаммером обошлись по-свински: вместо повышения за заслуги — все знали ценность его паровозной топки, дававшей большую экономию, — ему предложили Мценск. Недоумевали, почему «философ-астроном», самолюбивый, пылкий, хотя и не карьерист, а в житейских делах скорей младенец, проявил такую покладистость. Говорили о миллионном наследстве после брата-сибиряка, а Вейденгаммер полез в такую дыру, купил даже усадьбу, из которой рады были сбежать владельцы. Ходили слухи о загадочной красавице, сбежавшей из монастыря и вскружившей голову всей Москве: из-за нее покончил самоубийством барон Р., дрались на дуэли два гвардейца, а третий, славный победами в амурных делах, пошел добровольцем на Балканы. Рассказывали, что красавица резко переломила жизнь, и фантазер Вейденгаммер, безумно в нее влюбленный, разошелся с женой, женился без огласки на романтической красавице, ради нее выбрал такое захолустье... — во вкусе Руссо и какой-то героини Жорж-Занд, — и только из любви к путейской работе не бросает службу, хоть и миллионер. Все это подогревало любопытство. К тому же сослуживцы любили мягкого и доброжелательного Вейденгаммера, хорошо воспитанного, никому поперек дороги не становившегося, и на просьбу начальника ответили так дружно.

Встреча вышла необыкновенно душевная. И это Даринька приняла как знамение благое.

Старейший инженер Караваев, развалистый, с седой бородой по грудь, поднес огромный букет белых лилий — Даринька едва его держала — и сказал, вместо заготовленного приветствия, родившийся в голове экспромт. Потом дивились, откуда у него такая тонкость мысли, — так это было неожиданно от «батеньки-ведмедя, от теплого Караваши». Так его приятельски называли за благодушие, за беспечность к движению по службе; он увяз в калужской глуши, никуда не желая сдвинуться, любил природу, музыку и пустынное житие и был страстным охотником.

Караваев и сам дивился, как то-нко у него вышло:

— Как увидел глаза... пропали у меня все слова! «Лесная царевна» вспомнилась, мальчишкой в «Третьяковке» еще очаровался. Ни к черту заготовка, трепанные слова... тут — сама чистота! Что тут слова, перед этой лилией Сарона!.. И вдохновился.

А сказал он, нельзя короче:

«Примите эти чистые, королевские лилии — общий восторг перед отныне нашей, путейской... королевой!»

Грохнуло «ура», какого не слыхивали на задымленной станции Мценск. Вейденгаммера обнимали, целовали ручку Дарье Ивановне, поднесли хлеб-соль-изрядный торт, в пене из сливок, с земляничкой, с солонкой в виде серебряной вчернь паровозной трубы раструбом, выпили досуха шампанского, проводили к убранной колосьями и васильками тройке и усадили под гром «ура». Виктор Алексеевич пригласил всех на новоселье, только устроятся. Приняли дружно и просили до новоселья на товарищеский обед у «Касьяныча», на Зуше, — загрузить балласт нового пути.

Когда садились в коляску, встретил их Карп, приехавший до них. Он уж освоился, был, видимо, доволен, смотрел усадебно-барским кучером. На оклик Дариньки «Карп наш!.. понравилась наша дачка?» — Карп степенно ответил: «Хороню, барыня... ти-хо». Забрал на пролетку чемоданы и Анюту.

Все ладилось, — начинавшийся новый путь. Чувством покоя, что все теперь будет хорошо, отозвалось в сердце Дариньки, когда увидела она спокойного, рассудительного Карпа. И, как в Москве, подумала: «Хорошо, и Карп с нами».

II ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

Мягко гюгремывая бубенцами, встряхивая на ямах булыжной мостовой, подкидывая видавшими все рессорами, коляска спускалась к Зуше, разделяющей город на две стороны: к чугунке и — главную. Пристанционная сторона походила на слободку. Кузницы, постоянные дворы, домишки с пустырями и огородами, канавы с краев дороги, заросшие крапивой и лопухом, — попалась на глаза Дариньке развесистая береза, так и росла в канаве, — крылечки, в просвирнике и шелковке, заросли бузины, лавчонки с лаптями и кнутьями на растворах, гераньки в окнах, бочонки с селедками у лавок, кули с овсом, усеянные голубьями, дремлющие коты на окнах... — все говорило ей: «Привычные мы, простые... хорошо». И, как бы в ответ всему, Даринька сказала, вдыхая запах лилий:

— Как хорошо, Господи... славные все какие.

В этом ласковом «славные» все для нее сливалось: радушные путейцы, любопытные бабьи головы, в повойниках и платочках, глядевшие из окон на разукрашенную тройку; скворешни на березах, пожарная каланча с дремотным дозорным на перильцах; уютные домишки с баньками на курьих ножках; возившаяся в пыли голопузая детвора, жестяной калач-вывеска, сонное зеркало Зуши... — со всего веяло покоем.

— Да, славный народ путейцы наши... — сказал Виктор Алексеевич, впервые за много лет почувствовавший такой покой. — Все от тебя, твое все очарование. Вдуматься... сколько в людях хорошего и как редко оно прорвется. А как прорвется, всем делается легко, будто праздник.

Эти мысли — к размышлениям он всегда был склонен — пошли от приятной встречи и чтения в вагоне «Анны Карениной». Устроятся на новом месте, надо поставить за правило — каждый день хоть час уделять Дариньке, развивать ее, помочь разобраться в смутном, что в ней, побороть ее робость перед жизнью, беспочвенный этот мистицизм. И непременно прочесть и продумать с ней «Анну Каренину»...

Мысли его перебил окрик ямщика:

— А, ты, несчастная!.. чуть было не зашиб!..

Коляску сильно потрянуло: ямщик осадил лошадей, коренник взвился в воздух. Случилось происшествие, нередкое в русских городках.

Коляска спускалась к плавучему мосту через Зушу, и только лишь припустил ямщик, — прокатить по приятному настилу, как из-под ног лошадей выскочило что-то отрепанное и грязное.

— Киньте ей пятак, барин, — сказал ямщик, — а то, ну-ка, словами застегает... Настенька это, юродная... выйдет нехорошо.

— Кто?.. юродная?!.. — живо спросила Даринька. — Дай ей гривенничек скорей!..

Она выглянула из-за цветов и увидела невысокую худенькую — девушку ли, старушку ли, — трудно было узнать: все лицо было вымазано грязью. Юродивая скакнула к коляске, заглянула в лица проезжих, словно хотела запомнить их, стала креститься и тонким, совсем детским голоском выкрикнула:

— Молодые едут, с цветочками!.. дай, молодая, цветочков Настеньке... Богородице снесу... Младенчику поиграть, Младенчику поиграть!..

В сильном волнении, почти в испуге, Даринька сорвала ленту на букете, отделила половину лилий, оторвала кусок ленты, обмотала цветы, шепча в испуге: «Господи, Господи...» — и сунула юродивой:

— Отнеси, милая, Пречистой... Господь с тобой...

Виктор Алексеевич испугался, как бы дурочка не принялась ругаться, и швырнул ей рублевую бумажку. Юродивая махнула им цветами и крикнула:

— Вот добрые-хорошие... учиись! учиись!!..

— И хорошо, барин, — сказал ямщик, — теперь она вас признала, будет за вас молиться. Совсем она горевая, незадачная, не выдали ее за хорошего человека, мачеха не желала, разбила ихнюю любовь. А папаша не заступился, тихий очень. И Настенька в него, покорливая. А кого невзлюбит, словами застегает. Не шибко бранные слова, а неприятно слушать, так все: «Изверги, гонители-мучители!..» — заладит.

Коляска прокатилась мостом, на широкой здесь Зуше, и стала шажком подниматься к городку. Дариньке понравился мост на смоленых дощаниках; пахло смолой, парившей к вечеру рекой, медом начавшегося покоса. Она была захвачена этой встречей, показавшейся знаменательной, и расспрашивала ямщика, почему эта девушка стала юродивой. Ямщик говорил охотно и рассудительно:

— У нас над ней не смеются, как в прочих местах, жалеют ее. Есть такие в округности, в Оптину их возят, к старцам, отчитывать, молятся за таких. Бывает — и снимают порчу. А Настенька тихая, болезная, а кто говорит — будто и во-святая. Года три с ней такое, недоумение-то. Да вы все про нее дознаете, ее Аграфена Матвеевна очень хорошо знает, про ее. А это в именье, ютовских ребят выходила, мудрая, богомольная... очень правильная. Господ Тургеньевых дворовая была, в Спасском, а после к Ютовой барыне прижилась. Горюет, поди, барчуки свое гнездо на свободный воздух променяли. Как уж она теперь с ним расстанется?.. Настенька все к ней хаживала.

Ямщика охотно слушал и Виктор Алексеевич: тургеньевское Спасское- в семи верстах! Соседи, может быть, и знаменитого писателя увидят, познакомятся.

— Правда, хорошо, что Уютово купили? — спросил он Дариньку. Она сжала его руку без слов.

— Она была счастлива, — вспоминал Виктор Алексеевич первый их мценский вечер. — Тихий городок, приволье, луга, рощи, темная полоса боров по горизонту — было близко ее душе. Случай с юродивой вызвал во мне мысли порядка бытового, как картинка захолустной жизни, а Даринька приняла это трепетно-чутко и была права: последствия этой встречи оказались немаловажными в нашей жизни. Случай с цветами разгласился и произвел некое сотрясение в умах, дал толчок чувствам, для меня неожиданным. И бессвязный выкрик «учись, учиись!..» — оказался полным значения. Больная, конечно, не сознавала, почему она выкрикнула, а народ-то «амманский» по своему воспринял это ее «учись», наполнил своим смыслом.

От городка лился дремотный перезвон.

— К Великому Славословию, — сказала Даринька. Она крестилась на блиставшие за домами кресты церквей, позлащенные вечерним солнцем. — До чего же хорошо, Господи... — сказала она, — тишина... так я ждала ее.

— У нас хорошо, барыня, тихо... — сказал ямщик, обернувшись к ним и улыбаясь, и Дариньке понравилось его круглое лицо в русской бороде и светлые, мягкие глаза. — Понятно, скушно зимой, снега глубокие, лесная сторона близко, калужская, с нее и метет на нас. А летнюю пору самая дача для господ, и из Орла даже приезжают, в имения. А уж Ютово — чистый рай. Цветы всякие, оранжирей, фрукты-ягоды... чего только душа желает. Покойная барыня до страсти цветы любила, а хозяйством не интересовалась. И барчуки в нее, не любят хозяйствовать. Аграфена Матвеевна скажет ей: гречки бы посеять, а то все в городе берем, смеются, — от своей земли да за крупой в лавочку! Барыня еще до птицы была охоча, какая даже без пользы, а пропитания требует

деликатного... у них и по сию пиру кормушки в парках, для вольной птицы... на зиму даже, снегирям, синичкам...

— Да?!.. — обрадовалась Даринька.

— Всем полное удовольствие: конопляно семя, ячки мурашкины, всего. А какие не наши — рису закупали. Три павлины было, им изюм брали, с чем чай-то в пост пьют... а изюм-то кусается, а она ящиками забирала. Серчает, бывало, Аграфена-то Матвеевна, — чего с вашей павлины, крик один. Ну, мы перышки на шляпы себе набираем.

Было приятно слушать неторопливую, покоящую беседу ямщика. Коляска ползла-укачивал а на ухабистой мостовой подъема. Домики пошли нарядней, с разными наличниками, с рисунчатыми занавесками, хитрого здешнего вязанья на коклюшках. Сады за гвоздяными заборами просторней, палисадники с подсолнухами, с жасмином; медные дощечки на парадных, староверческие кресты над входом. Ото всего веяло уютом, неторопливостью, крепким, покоящим укладом. В раскрытые окошечки трактиров было видно, как истово, в раздумье, потягивают с блюдечек кипяток распотевшие мужики в рубахах, подперев блюдечко тройчаткой, розаны на пузатых чайниках.

— Сколько мечтала так вот пожить, в тишине, уютно... — сказала Даринька, — как вот молятся в церкви... — «благоденственное и мирное житие...». Ходили с тетей на богомолье, всегда мечталось — в таком бы вот городке остаться, жить тихо-мирно, хоть в бедности, приданое бы вышивала на богатых, на двадцать копеек в день прожила бы, в церковь ходила бы... А в Москве суета, не жизнь. Ведь жизнь... это когда душа покойна, в Господе. Христос всегда говорил — «мир вам...», и в церкви о мире молятся... — «мира миру Твоему даруй...».

— Верно, барыня... слушать приятно правильные слова, от божественного... — обернулся ямщик и ласково оглянул их.

Виктор Алексеевич дивился, как Даринька разговорила. Такого еще не было с ней за эти два года жизни: таила в себе, стыдилась неграмотной простоты своей.

— Правда, — согласился он, — ты знаешь это сердцем. Знаменитый мудрец Лев Толстой сказал, в сущности, то же, только пришел к этому после долгих размышлений. Так и высказывайся, это и мне полезно.

Он говорил от души: давно не испытывал такой умиротворенности и легкости. Здесь можно работать, думать. Вздор, будто провинциальная глушь засасывает. Вся Россия живет в глуши и творит. Только тут и можно уйти в себя, понять жизнь. Жить от земли, с народом, его правдой... да, Толстой прав.

Перед выездом на базарную площадь они увидели слева приземистую церковь с круглой колокольней; приятна была белая колоколенка в березах.

— Одну минутку... — попросила Даринька остановиться, — свечку поставлю и приложусь.

Она вбежала на проросшую травкой папертку. Виктор Алексеевич закурил. Не хотел вылезать, не хотелось и смущать молитвенный порыв Дариньки, да она и не позвала. Покуривал и раздумывал. Много нового откроется для нее в усадьбе. Теперь жизнь потечет без взрывов, без потрясений, как где-то сказано — «жизнь жительство». Много надо прочесть, вырешить главное. В Ясной Поляне побывать. «Самого важного и не разрешил, — подумал он о жизни и, вскользь, о Боге, — заняться Даринькой... что я ей дал?.. брал только чувственно, и она стала меня чуждаться, в нем хотела найти, чего ей не дал я...» — подумал он о Вагаеве.

— Видать, богомольная у вас супруга, — сказал ямщик, — всегда с молитвы на новом месте надо. Дядя мой в Оптину в монахи ушел...

Виктор Алексеевич спросил, как его звать и где стоит: нравился ему ямщик степенной речью и повадкой.

— Донцовы мы, нас все знают. А я, стало-ть, Арефа Костинкиныч Донцов. А жительствоуем мы на Московской, сразу наш дом увидите, в два яруса, голубой, лошадка железная на крыше... Гляди ты, Настенька барыни цветочки в церковь понесла! правильно сказала давеча: «Богородице снесу!» С цветочков и недоумение в ней пошло, стала из чайника на себя поливать. Значит, платьице на ней было в цветочках, ситчик цветной... это как жених смотреть ее приезжал, фабриканта сын, Иван Петрович Клушкин. А ей не желалось за него...

Виктор Алексеевич предложил Арефе папироску, но тот сказал, что бросил баловство, «книжку прочитал внушающую». Тут вышла из церкви Даринька, лучезарная, совсем такая, как увидел ее Виктор Алексеевич в келье матушки Агнии, с осветляющими глазами, юницу, в белом, до земли, одеянии. И теперь она была в белом, пике.

— Не долго, не сердись на богомолку?..

— А цветы?.. — спросил он. — Только две лилии... Она блеснула глазами к церкви.

— И та... Настенька... тоже пришла, принесла цветы... и начала ставить перед «Всех Скорбящих»... будто свечки. Какие не втыкались, падали... ей стали помогать. И молилась, совсем разумная. И на меня все так... поскорей вышла, Должно быть, дивились... у ней лилии и у меня. Это редкие цветы, душистые лилии?.. Как хорошо, что ей не запрещали ставить...

— Воспрещать нельзя, дело благоугодное... — сказал ямщик. — Теперь я вас за двадцать минут доставлю, шесть верст, дорога гладкая. Эй, ма-лень-ки-е!..

Свернули на мягкую дорогу, Зушей, увалами, раздольными хлебными полями. Колоколец визжал и ерзал в уносе тройки. Дух захватывало от скачки, от теплого полевого меда зревших уже хлебов.

— Вон оно, Ютово, на гривке!.. — крикнул ямщик, — весело стоит!..

В «Записке» Дарья Ивановна записала о возложении цветов.

«...Осияла Пречистая душу мою, при недостоинстве моем, даровала умиление. Так мне пришло по сердцу эта церковка: старинная, с узкими оконцами, со сводами корытцем. Народу было мало, больше девицы и женщины. Уже кончили прикладываться к иконе Праздника на налое. Хорошо и легко молилось. Склонилась перед Крестителем, пошептала тропарик и в ликовании сердца возложила чистые лилии, знаменование Благовестия. Не было у Праздника цветочков. Тогда в нашем городке не убирали цветами иконы на налое, только Животворящий Крест и св. Плащаницу, а мечтные иконы украшали венцами рукодельными, розанами из цветной бумаги. И вот — да не возомню, Господи! — заметила я: стали и на налое полагать живые цветы, чистое творение Господне».

III УЮТОВО

Дариньке с первого взгляда пришлось по душе Уютово.

Садившееся солнце тронуло золотом липовую аллею въезда. Розовым мелькнули колонны былых ворот, смотревшие в золотое поле. Зацвели липы. В мягком звоне бубенчиков и колокольца, приглушенном тенистым сводом, выкатилась коляска на широкую луговину перед домом. В шелковом блеске серибристой от лет обшивки, приземистый, с флигелями по краям, со светелкой, окруженной балкончиком, смотрел ютовский дом подслеповато-благодушно, радужными окошками в ушастых ставнях, и как бы ласково говорил: «Вот я какой- простой, обжитой, по вас».

— Приятный какой, старинный... — сказала Даринька, — и светелка...

От дома веяло на нее уютом. Говорила после: «Мне казалось, будто я здесь бывала». Почему-то представилось, что впереди терраса, цветы, река. Оглянула кругом: где же людская, кухня?.. И увидела людскую, кухню, дымок над ними, — будто знакомое.

— Это явление душевной жизни неопределимо... — припоминание когда-то виденного?.. — объяснял Виктор Алексеевич эту особенность Дариньки. — Это присуще людям духовно одаренным, с сильным воображением, большим поэтам, подвижникам и святым. Узнавать никогда не виденное в жизни родственно прозорливости. Даринька как будто жила в разных путях времени. И другая ее особенность- крылатые сны, она часто во сне летала.

Виктор Алексеевич помнил, как, сойдя с коляски, Даринька искала глазами что-то. И, показывая на дом, сказала, как бы припоминая: «Там большие окна...» — и обвела полукруг, как арку.

Действительно, окна, выходявшие к цветнику, были до земли, арками поверху. Он называл это — «сны прошлого». И приводил стихи А. К. Толстого:

И так же шел жид бородатый,

И так же шумела вода.

Все это было когда-то,

Только не помню — когда.

Убранной цветами тройки не ждали, и такой пышный въезд явился как бы прибытием важных гостей на праздник: были именины Аграфены Матвеевны, домоправительницы поместья.

Только вошли в дом, Даринька узнала широкую веранду, спускавшуюся пологой лестницей в великолепный цветник. Он расстилался тремя уступами, спускаясь к решетке по крутому берегу над Зушей. На средней его террасе было озерко, поросшее кувшинками, с островком, голубым от незабудок и колокольчиков. Над ними клонилась-грезила плакучая низенькая ива.

«Го-споди, красота!.. жасмину сколько!..» — воскликнула Даринька, и они услышали приветливый голос:

— Здравствуйте, барин, барыня... с приездом вас, дай, Господи, счастливо.

Так началось их знакомство с Аграфеной Матвеевной. Речь ее, певучая, растяжкой, напомнила им матушку Агнию. Только лицо ее было суровое, закрытое, — озабоченно-деловое: лицо русской старухи, привыкшей править делом. Виктор Алексеевич отмечал ее независимый характер и прямоту. Она тут же и сказала, прямо:

— Навряд ли вы, барин, умеете в хозяйстве, молоденькие совсем. Пообглядитесь. Придусь по нраву — при вас останусь... нет — отойду, есть у меня куда. И к вам по присмотрюсь, какой тоже у вас характер. А так, глядеться, нравиться вы мне.

Когда-то она была дворовой Варвары Петровны Тургеневой, матери писателя. И вот из-под деспотички, какой была ее барыня, остаться такой, без единой черточки рабы! Что ее сохранило так? Виктор Алексеевич понял потом, что сохранило, как многих в народе нашем. Даринька деловито, как бы в тон Матвеевне, сказала:

— И вы мне нравитесь. Я никогда не жила в имении. Буду рада, если останетесь.

— Ну и хорошо, — сказала Матвеевна, — спешить некуда. А хозяйству обучитесь, дело нехитрое. Хозяйство, понятно, не любит сложа руки. Расходу требует, тогда и с лихвой воротится. Потому мальчишки и продали, денег нет. И воли захотелось, крылышки подросли. А я как отговаривала... родимый кров бросать. Что у них теперь... ни сбывища, ни скривища, ни крова, ни пристанища...

Спросила, что сготовить на ужин. Можно и постного подать, — Петровки. Похлебка со свежими

грибами, лещике кашей, пирог клубничный... на именины как раз сгадали, Аграфены-Купальницы нонче. Они тут же ее поздравили и на минутку прошли в людскую.

Этот случай, как и происшествие с лилиями, разгласился по городку и оставил след. Аграфена Матвеевна приняла посещение и подарочек — коробку мармелада — так же просто, как только что спрашивала про ужин.

В просторной, чистой людской сидели гости: ямщик Арефа, попадья с дочкой Надей, бывший бурмистр из Спасского и ребята Ютовы. Познакомились, откушали пирога. Падали сумерки, надо было устраиваться. У Дариньки осталось от этого посещения праздничное чувство. Не помешало этому и нечто курьезное, — старший Ютов.

Этот парень, лет двадцати, крепкий, с бородкой а-ля мужик, сидел за столом оперным бандитом: в широкополой шляпе (Матвеевна сказала ему: «Шапку-то бы снял, Костенька, образа-а...»), в красной рубахе, с дубинкой. Знакомясь с Даринькой, буркнул: «Ютов, медик...» — и усмехнулся. Виктор Алексеевич и раньше его видел, и все таким же: так, под народника, мода такая, несколько запоздавшая; но Даринька удивилась: студент, а такой странный. На обычное Виктора Алексеевича «Очень рад» грубовато отозвался: «Ужли рады?.. а остатние две тыщонки привезли?» — «Как же, сейчас получите», — сказал Виктор Алексеевич, а Даринька смутилась. Матвеевна одернула: «Костя, ты бы повежливей...» Гости не дивились на медика, а Матвеевна головой только покачала, молвив: «Да не такой ведь ты, настоящий-то, а так, напускаешь на себя», — «Ну, не серчай, амененнца, — сказал добродушно Ютов. — Айда, господа помещики... введу вас во владение».

Даринька не знала, что и думать. Виктор Алексеевич вышутил: «Под Базарова запускаете или под Марка Волохова?» Ютов смущенно рассмеялся: «Да ни под кого: а просто... не люблю условностей». Его брат, лет восемнадцати, нежный лицом и светловолосый, молчал смущенно.

Уже в сумерках ходили они по комнатам. Дом был куда больше, чем показалось Виктору Алексеевичу в первый его приезд. В неотвязчивой мысли скорей купить, как бы не передумали, он ничего не смотрел, не обошел и усадьбы. Мебель была старинная, много от прошлого века, — столики, секретеры, разные трюмо и зеркала, люстры, в хрустальных шариках... — такая роскошь! Виктор Алексеевич чувствовал себя смущенным: не обманул ли юных наследников, купив все за двенадцать тысяч? — хотя и знал, что никто не давал наличными больше восьми. А когда поднялись в светелку, где угловые комнатки, на цветник и Зушу, со шторами от солнца, Даринька воскликнула: «Господи, красота какая!..» Ютов усмехнулся:

— Красота понятие относительное. Для меня красота... когда я режу трупы.

Даринька вздрогнула и, к изумлению Виктора Алексеевича, сказала возмущенно:

— Ужас, что вы говорите!.. равнять такое!.. Все... — показала она на цветник, на Зушу, на даль, где мигал золотыми точками гроыхавший поезд, — чудесно-живое, дышит... все — красота Господня!..

— Как кому... — видимо, дразнил Ютов, любуясь ею. — Когда я рассматриваю под микроскопом клеточку...

— И вы ничего не чувствуете!.. — воскликнула Даринька.

— Почему ни-че-го?.. чувствую кое-что... хотя бы желание немножко вас рассердить.

В белом платье, в откинутой назад шляпке с васильками, с горячими глазами, досиня потемневшими, она была прелестна. И — отметил Виктор Алексеевич — она была свободна, заспорила, чего не бывало прежде.

— Вы... духовно слепы!.. — воскликнула она и отвернулась. — В вас нет чувства, вкуса... к

красоте Господней!..

— Ну, по-ло-жим... вкус-то у меня е-есть!.- не унимался Ютов, — к красивым женщинам... и... к отбивным котлетам. Даринька вспыхнула — и не ответила.

— В самом деле вы такой циник... или «напущаете на себя»? — шутливо сказал Виктор Алексеевич. — Дешевенький нигилизм, оказывается, еще в моде... провинция-матушка.

Ютова, видимо, задело. Он пробовал пройтись насчет «духовно слепы», но Даринька не отвечала. Виктор Алексеевич вручил ему две тысячи. Ютов сказал, что завтра он покинет родное пепелище чем свет, — «дорожная сумка готова, давно мечтал пешком обойти весь Крым...».

— Теперь есть на что... похлопал он по карману.

IV РАЗГОВОР В СУМЕРКАХ

Дариньке почувствовалось в его голосе что-то скрываемо-горькое. Виктор Алексеевич подумал: «Потому и продали гнездо». Взглянул на Ютова: что-то растерянное было в глазах студента. Наигранного ухарства как не бывало. Взгляд его встретился с глазами Ютова.

— Небось, подумали, ради Крыма и с Ютовым расстались? — сказал студент и криво усмехнулся.

— Угадали, так и подумал.

— Пряמודушны... это редко теперь. Только ошиблись, не ради Крыма. Было бы преступно — ради Крыма! — вырвалось у студента, и это насторожило Дариньку. — Видите ли... содержать Ютово, как маме нравилось... — раздумчиво сказал он, — нужны средства. Цветники, теплицы, грунтовые сараи... вы еще не видали главного, без чего мама не могла... нам теперь не под силу. И продали. Надо кончать университет, на это хватит, А пока... — обратился он к Дариньке, и она уловила что-то в его глазах, — «удивился словно», — пройду по Крыму и буду созерцать... пусть по-вашему, «красоту Господню». Это и в нас, от мамы. Цветы... для нее было все. И она так же говорила про «красоту». Алеша побудет еще с недельку, кончит свои этюды. Он у нас художник, К... хвалит. Кстати... К... мамин портрет дал, увидите, Там мама юная совсем. К нему Алеша и поедет.

— Сложна человеческая душа... вспоминал Виктор Алексеевич этот разговор в сумерках, на балкончике светелки. — Оттаял парень. Говорил своим голосом, не играл. Даринька слушала его с волнением. Очень нежно говорил он «мама». Может быть, подействовала на него открытость Дариньки, непосредственность ее... Конечно, и расставанье с родным гнездом. Ютов сразу как-то приручился. «Напускают на себя» обыкновенно застенчивые, в которых долго остается детскость. Он не давал нам разбираться, смущался, что мешает, и не уходил. Алеша не проронил ни слова, а когда брат говорил о нем, краснел, как девушка. И лицом был... нежное такое, девичье. Мечтательное, хрупкое было в его наружности, резкая противоположность с братом. Стройный, высокий, «ломкий»... куда-то устремленный взгляд, во что-то — вне.

Словом, грубоватый Ютов раскрылся. Сказал, что «жалко вот со старухой нашей расставаться, с няней».

— Узнаете ее — оцените. Много повидала, много знает. Туга только, навязываться не любит. Тургенев, как приедет из-за границы, посылает за ней повидаться. Много у него в рассказах от Матвеевны. Прочтешь «словечко»... Матвеевна наша! Знаете, она хорошо знала Лукерью, с

хутора Алексеевны, помните — «Живые мощи»? Не читали?!.. — удивился Ютов. — Как, неужели не читали... «Живые мощи»?!.. — с изумлением переспросил он Дариньку.

Она смутилась. Смутился и Виктор Алексеевич: помнилось что-то, смутно... кто-то болел, в

сарая?..

— Да как же так... непременно прочтите! Это ведь здешнее, вся округа знает, из стариков. Там-то и есть это... — «красота Господня». Матвеевна за святую почитает ту Лукерью. Сама она вам не скажет. Про этот се «грех»... она, конечно, считает это за грех... я слышал от спасского бурмистра Тихоныча, он эту историю отлично знает. Думнова — по отцу, а по мужу Матвеевна-Полякова. А Василий Поляков когда-то был Лукерьиным женихом, крепко друг друга полюбили, а кончилось «мощами». Лукерья примирилась, что ее Вася женился на хорошей девушке. Непременно прочтите.

Даринька загорелась, — а где достать это, про «Живые мощи»?

— Как — где... везде!.. — удивленно воскликнул Ютов. — В каждой школе, в любой читальне! Это же из «Записок охотника»!.. «Записки охотника»... неужели не читали?!..

Даринька со стыда сгорела, даже проступили слезы, и растерянно глядела на Виктора Алексеевича.

— «Провинциалами»-то оказались мы, — вспоминал он, — даже просто невеждами. Ютов и виду не подал, что уличил в безграмотности. Достал из портмоне ключик на шнурочке и вручил Дариньке: «Все наши книги в вашем распоряжении, там все найдете». Библиотеку Ютовы нам не продали. Эта библиотека, в «гагеновских» переплетах, семейные портреты и реликвии были внесены в сохранную расписку и оставлены временно в усадьбе, в большой угловой. Передавая от нее ключ Дариньке, Ютов неожиданно сказал:

— Хорошо, что вы... — подчеркнул он, — купили наше Ютово. Оно будет в сохранности.

Говоря, он глядел на Дариньку, и лицо его было почти нежное, с налетом грусти. Виктор Алексеевич подумал: «Почему он так смотрит?» Удивленный таким раскрытием души, он спросил:

— Почему такое доверие? Вы не ошиблись, все будет в сохранности... но вы совсем нас не знаете...

— Не знаю почему... — сказал, вдумываясь, Ютов, — подумалось так... Дарья Ивановна радостно приняла все это... — он показал на цветник, — а маме было это дорого. Вспомнилось ярко, будто я слышу ее голос, вижу ее лицо...

Видно было, как он взволнован: закусил губы и отвернулся. Тут случилось «удивительное»: волнение Ютова сообщилось Дариньке.

Неожиданно для Ютова, — он чуть отступил и смотрел тревожно, — она взяла его руку, взглянула в лицо и, взволнованно, побледнев, начала говорить, путаясь в словах:

— Простите, ради Бога... я ошиблась... шутили вы. Горечь, а я подумала, что... грубо показалось. Я знаю, вы хороший, о маме так... и чувствую. Как хорошо, что мы... родное ваше, Уютово...

— Ютово... — поправил Ютов.

— Ах, да... Ютово?.. а мы — Уютово, так сбилось в нашей жизни... — говорила она, стараясь подавить волнение, — я хочу сказать, что вы... она прижала свою руку к сердцу, губы ее кривились.

Ютов вглядывался в нее, на лице его был радостный испуг.

— Да, я чувствую... теперь чувствую... и вот, видит Бог... все здесь, дорогое ваше, будет... как при вашей маме... даю вам слово... — она взглянула на Виктора Алексеевича, и он поспешил

сказать: «Да, да... как ты сказала!» — Вы не покидаете, все с вами... будете у себя всегда, пока мы тут...

— Я был поражен таким порывом ее... — вспоминал Виктор Алексеевич. — Вскоре я понял все. В них обоих таинственным инстинктом приоткрывалась сущность их отношений в будущем. Даринька вскоре узнала все. Ютов не узнал... может быть, догадался? Надо сказать, что, продавая усадьбу, Ютовы выговорили на три года жить летом во флигеле, три комнаты. Дариньке я забыл сказать. И вот она почувствовала желанье братьев сразу не порывать с родимым домом и так дополнила. Ютов был удивлен ее порывом, весь осветился. Голос, глаза... — все другое. Алеша не проронил ни слова, сидел на перилах балкончика, смотрел на Дариньку. Не смотрел — вбирал. В его взоре сиял восторг. Это был взгляд одухотворенного художника, — он это проявил после, в своих картинах «русских духовных недр», — взгляд мастера, лелеющий неуловимый образ, вдруг давшийся.

— Вот какая вы... — тихо сказал Ютов, — благодарю вас... — И поклонился. — Вы почувствовали... было тяжело эти дни, последние. А теперь легко. Будто никакой перемены не случилось, а... продолжается... — и мягко улыбнулся.

— Соловьи!.. — тихо сказала Даринька, — так близко!..

— Что тут в мае!.. — ответил Ютов. — Теперь последние, уже неполные коленца. Видите, озерко, на островке, карликовая ива... мама называла ее «грустная малютка». Всегда там, в незабудках, у них гнездо. Привыкли, не боятся. И по жасмину, и по Зуше, в черемухах...

Пели соловьи, последние. Один в жасмине под балконом, другой — к реке. Один послушает, ответит. Чередовались. Вправо, за усадьбой, где село, сторож отбивал часы, как в сковородку: ... девять... десять.

— Де-сять!.. — спохватился Ютов, — вам еще разобраться, а я мешаю. Завтра рано, с пятичасным, в Орле еще подсядут. И уезжать не хочется...

В большой столовой засветили лампу. В большие окна глядела ночь, пахло жасмином, крепким духом разогретых за день елок. В селе играли на гармонии, пели. За рекой костры горели.

Кто-то приготовил им постели в приятных спальнях. Дариньке выбрал голубую, в птичках, с окном в цветник. Виктору Алексеевичу — в лиловом кабинете, в елки. Так и оставили, пришлось по сердцу.

К окну тянуло. Даринька подняла штору. Розоватый месяц на ущербе выглядывал из-за кустов: «Ну, как на новоселье?..» Соловьи чередовались. Пахло резедой, петуньями. Этот запах напоминал цветы Страстного. Даринька глядела в небо. Замирало сердце, от полноты. Она опустилась на колени в огромном, до полу, окне, будто под светлым небом...

Долго не могла заснуть: лежала, обняв подушку. Сковородка пробила — раз, Молилась в дреме, в пенье соловьев. «А завтра... ско-лько!..»

О первой ночи в Уютове Дарья Ивановна писала:

«...Тогда впервые сердцем познала я дарованное Господом счастье жить. В ту ночь, смотря на небо, я чувствовала близость Бога, до радостного замиранья сердца. Был Он в звездах, в легком дуновенье, в благоухании от цветника. Слышала Его в пенье соловьев, чувствовала несказанным счастьем, что буду вечно, ибо сотворена по Его Воле, Его Словам. Видела искру в своем сердце, нельзя сего постигнуть. Эта искра стала во мне как свет. С того часу каждый день жизни стал познанием Его через красоту Творения. Чем измерю безмерную Милость — жить? как выскажу? есть ли слова такие?.. в псалмах?.. В ту ночь вспомнилась мне любимая матушкина молитовка, любимый и мною ирмос:

„Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя, и прославих Твое Божество“».

У БЛАГОСЛОВЕННОЕ УТРО

Утро первого пробуждения а Уютове Дарья Ивановна называла благословенным, утром жизни. В то памятное утро она познала «духовную жажду жизни».

Даринька проснулась с солнцем. Пел соловей. Она слушала и не сознавала — да где она?.. И вдруг озарило радостно: «В Уютове, у себя... скорей в церковь!» С вечера было в мыслях, что надо пойти к обедне, начать новую жизнь молитвой. Когда нежилась в постели, чувствуя, как легко, покойно и какое счастье, что они в тихом Уютове, на всю жизнь, — услышала вчерашнюю сковородку, отбившую шесть раз.

В тот день была ранняя обедня, в семь, и ей хотелось прийти пораньше, чтобы не обратить внимания. Перед обедней надо было повидать батюшку, попросить, чтобы отслужил молебен Крестителю, и нельзя ли в воскресенье поднять в Уютово иконы по случаю новоселья.

Босая, подбежала она к окну, вздернула сырую от росы штору, и ее ослепило блеском росы и солнца, затопило жемчужно-розовым, хлынувшим на нее, благоуханьем воздуха, ласковым теплом утра. Жмурясь, стояла она в окне, дышала светом, слыша его касанье, чувствовала, что он живой. «Твой, Господи, свет... творение Твое!..» — вспоминалось молитвенно, из псалма: «Слава Тебе, показавшему нам свет». Она помолилась на небо, в великое Лоно Господа. Будто в чудесном сновиденье было все это, — ненастоящее: самоцветными коврами расстилались пышные цветники, сиявшие необычным светом, живым, жемчужным, — такого не бывает. И знала, что это роса и солнце, что это здесь, в тихом Уютове.

До церкви было близко, малинником, по тропке в горку, — «Овсы увидите, нашими овсами... тут и церковь увидите...» — показала Матвеевна, подивившись, какая барыня богомольная.

Когда Даринька шла в росистых овсах по тропке, благовестили к обедне. В сиянье неба звенели жаворонки, в овсах потрескивал коростель. Овсы уже выбросили сережки, были жемчужно-седые от росы. Вспомнилось, как ранним утром на богомолье умывалась росой с травки, и ей захотелось той, детской радости. Она умылась росой с овсов, захватывая пригоршнями с сережек, вдыхая свежесть, окуная лицо в сверканье. «Наши овсы...» — шептала она овсам, и это новое еще слово «наши» показалось ей ласковым. Она не сознавала, что эти овсы — ее овсяное поле: эти овсы в пошумливавших сережках, сыпавших бриллиантами, были в ее глазах живые, Божьи, как и она. Она присела, притянула к себе и целовала, шепча: «Милые, чистые... овески...» — надумывая слова, как дети. Не было никого, не стыдно, — она, да овсы, да благовест... И надо всем Господь.

Чувствуя, как сердце исполнено нежности ко всему, будто постигнув что-то, она стала благословлять сверкающее поле. Это чувство слиянности со всем, ведомое пустынножителем, — знала Даринька из житий, — в это утро явно открылось ей. Озаренная этим новым, она осмотрелась — и увидела Уютово. Оно открылось так хорошо и близко, что различалось даже озерко среди цветов. Она увидела цветники, блиставшую под обрывом Зушу, фонарь-светелку, словно расплавленное солнце. Повернулась идти — и увидела церковь. Ярко она белела, широкая, пятиглавая, в синих репах. Над папертью, в пузатых столбах-графинах, высилась колокольня, пониже реп, в синеватых кокошничках-оконцах. Сбоку была пристройка- часовенка ли, прндел ли. Над Зушей, в березах, смотрело крестами кладбище. Через лужок, на котором белели гуси, стояли домики причта. Как раз вышел в летнем подряснике батюшка и пошел лужком к церкви, а перед ним размахались на крыльях гуси.

За «поповкой» начиналась широкая улица села, в березах. Матушка говорила вчера, что раньше село было большое и называлось Большой Покров; но господа продали главную его часть, что за оврагом, барину Кузюмову, а тот перевел купленных крепостных в свою Кузюмовку, а землю

пустил под конопляники, «такой-то был самондравный, да и сынок не лучше». Надя еще сказала: «Папаша одержимым его зовет и темным, что-то от Достоевского».

Когда Даринька собиралась спуститься к прудочку в ветлах — от него поднимались к церкви, — она услышала крики, и с окраины Покрова, где большой овраг, вывалилась на дорогу толпа народа, окружавшая беговые дрожки с человеком в белом картузе. Двигались к церкви, и Даринька различила выкрикнутое — «конопляники!». Дойдя до лужайки, толпа стала расходиться, а человек на дрожках погрозил палкой и замелькал в хлебах. Все затихло, и только всполошившиеся гуси продолжали выкрикивать тревожно. Но и они утихли. И теперь только благовест разливался в чудесном утре.

VI СВЯТИТЕЛЬ

В церкви не было никого; только за свечным ящиком возился со свечками и просвирками тощий старичок. Даринька вошла неслышно и огляделась. Церковь сияла солнцем из купольных оконцев. Стены были расписаны. Паникадило в подвесках из хрусталя сияло на плиты радужными полосками. «Приятная какая... — порадовалась Даринька, — и образа богатые, хрустальное паникадило... редко и в городе увидишь». И пошла к старичку взять свечи и просвирки.

Старичок почтительно поклонился ей и ласково справился, какие она просвирки больше уважает, беленькие или румянистые. Чистенький такой был, говорил говорком, с ухмылочкой, как говорят с детьми. Такие встречались ей на богомолье, в монастырях, особенно монахи-пасечники, с лучиками у глаз, угощавшие ее медком сотовым. Она знала, что такие уже не зовутся по имени, а ласковыми именками — Асеич, Митрич. Она спросила, как его звать. Он засветился лучиками: «А Пимыч я, милая барышня... Пимыч я, ктитором двадцать пятый годок у Покрова. — И спохватился: — То бишь, барыня... молоденькия совсем, как барышни». Даринька подумала, что он, пожалуй, знает, кто она, — «новая ютовская барыня», как вчера называл бурмистр. Видимо, был доволен, что она взяла десять свечек по пятаку и три больших просфоры, румянистых, и почтительно принял лиловое бархатное поминаньце, с золотым крестиком. Поведал, что певчие у них амчанским соборным не уступят. Покойная барыня Ольга Константиновна всегда певчих гостинчиком баловали. И мамаша ихняя всегда внимание оказывали храму Покрова, и придельчик изволили созиждить, там и упокоются. «А вы, милая барыня, не сродни Ольге-то Константиновне?» Даринька сказала — нет, не сродни. «Подумалось, взгляд у вас схожий словно». Она попросила сказать батюшке: хотела бы после обедни молебен Крестителю Господню.

Пимыч прошел в алтарь, и сейчас же вышел отец настоятель и еще издали приветливо покивал. Она подошла под благословение, по-монастырски, чинно. Он благословил истово, и ей подумалось, что ему приятна ее чинность. Батюшка с готовностью отнесся к ее желанию поднять иконы в Ютово в воскресенье, сказав: «Приятно видеть... не часто это ныне среди образованных».

И батюшка понравился, говорил сдержанно, без елейности. Открытое лицо, «с деготком», — по Виктору Алексеевичу. Такие лица, «простецкие», она видела на портретах в обителях, духовные лица русские. В таких лицах, в их некрасивости, особенно чувствовались глаза, или острые, как у отца Амвросия Оптинского, или мягкие, светлой безмятежности. У отца Никифора были мягкие, вдумчивые глаза.

Подходил народ, и это смущало Дариньку. Бабы и девки, празднично разодетые, глазели на нее, шептались так внятно, что это ютовская барыня, молоденькая какая, пригоженькая, замужем за богатым инженером, а простая, Аграфену Матвеевну как уважила, конфет мармеладных подарила в именины... Теснились кругом нее, засматривали в лицо, дивились: «Фасонистая... живая куколка...»

Она была в легком платье из голубой сарпинки, с «плечиками», с открытой шеей, — последней моды, — купленном на Кузнецком по настоянию Виктора Алексеевича: нельзя иначе, в провинции с этим очень считаются, и быть кое-как одетой вызовет только разговоры. Она отказывалась

рядиться, но покорилась, нарушила данное себе слово «забыть наряды и все», боялась разговоров. Хоть и смущали ее оценка баб и любованье, было все же приятно, что платье на ней нарядное, «счастливое», — обновила его в чудесное такое утро, и для церкви, — что нравится ей и всем, даже Матвеевна похвалила: «Какие хорошие-нарядные!..» Пока читали часы, бабы все дивовались: «И губки, и глазки... чисто патрет красивый». Даринька не знала, куда деться. Подошла старушка, поклонилась низко и застелила: «Да вы, красавица барыня, к крылоску пожалуйте... навсягды наши господа там стаивали... и стулец ихний, и коврик... пустите, бабочки, барыне нашей пройтить дайте».

Дариньке надо было еще свечек, забыла поставить распятию и на канун, и она пошла к Пимычу. Все расступились, упреждая задних: «Барыне нашей пройтить дайте... новая барыня, ютовская, — наша это!..» Даринька чувствовала, как пылает у нее лицо, — так смущали ее бабьи разговоры, пытающие глаза, будто видевшие в ней все. Она шла, опустив глаза от душевной муки. Эта мука всегда таилась ею: «Не знают, какая я, Кто я». За этими словами болела рана: страшное в ее жизни, ее позор. Всегда томило, когда ее хвалили, ласково обходились с ней. И вот теперь, в этой светлой, такой приятной церкви, ее церкви, все любят ее на нее, дают дорогу, признают открыто, что она красивей и лучше всех, и предлагают ей самое почетное место, где спокон веку стояли настоящие барыни, а не... Подавленная этим, дошла она до свещного ящика. Пимыч засветился, спросил, нравится ли ей церковь. Она кивнула и попросила еще свечек. Он вызвался поставить, но она сказала, что всегда сама возжигает свечки. Спросила, где бы не на виду ей стать. «Нестеснительно чтоб молиться, желаете?.. а вы в придельчик пожалуйте, проведу вас... и холодок, и молиться хорошо, неглазно, уютный у нас придельчик, во имя умученного Святителя...» Он назвал имя Святителя, которому она всегда молилась, и сердце ее вспорхнуло, — она даже выронила свечки. Кинулись подымать. Пимыч хотел было вести ее к канунному столику, но она попросила еще свечку, «самую большую»: думала о Святителе... Пимыч извинился: теперь у них самая важная свечка — за гривенничек только, а на Покрове будет и в полтину.

Когда она возжигала перед распятием, а Пимыч ждал провести ее в придельчик, у ней дрожала рука, и она не могла поставить, помог Пимыч: так ее взволновало, что придельчик ее церкви — во имя Святителя. Это было глубоко знаменательное для нее. В ее отныне церкви — и во имя Святителя, память которого связана с ее жизнью, с ее... — страшилась и помыслить. В ней болезненно-стыдно жили невнятные для нее рассказы тетки... не ей, а разговоры тетки с сопутнииами на богомолье о темном и стыдном... — о грехе матери. Осталось в памяти грязное слово, крикнутое соседкой, когда Даринька была ребенком. Это слово потом раскрылось и жгло ее. Остались стыдом и болью темные разговоры тетки о «знатном графе», о нищете, когда застрелился граф, а наследники выгнали ее мать, которую она не помнила, Об этом, смутном, поведала она Виктору Алексеевичу и жалела, зачем поведала. Поведала, что тетка велела ей всегда молиться Святителю, который — «того рода»... Не смела таиться от него. Он понял, как тяжело ей, и они этого больше не касались.

Не подымая глаз, она пошла за Пимычем в придельчнк, на южной стороне церкви.

— Тут вам поспокойней будет... — сказал Пимыч, входя тесным и низеньким проломом. — Мамаша покойной Ольги Константиновны так велели, чтобы как в старину было, свод корытцем. Там и упокоятся.

Пимыч ушел. Началась обедня, а она все стояла на пороге. Видела только синее пятно лампы. Дремотный отсвет действовал на нее покояще. Она перекрестилась, приблизилась к лампаде и затеплила от нее свечку. Увидела канунный столик, фарфоровые яички, восковые цветы. Затеплила свечку и на столике и склонилась перед неразличимым образом.

Придельчик во имя Святителя не был похож на обычные церковные приделы. Он напоминал сводчато-каменную келью в старинных монастырях, «пещерную», где подвизались затворники. Но это был храмик, с алтариком, с узким оконцем за решеткой, в заломчике под сводом. Направо от Спасителя теплилась синяя лампада. Оконце чуть пропускало свет, лампада была глубокая, густая, и если бы не свечки, не разобрать бы, кого изображает «престольная» икона.

Даринька знала о Святителе от тетки и матушки Агнии. В монастыре читала житие и узнала об его заступничестве за гонимых овец стада своего, о заточении и мученической кончине. Увидев прдельчик, она удивилась, какой он темный, тесный, под низким сводом. Святитель, святостью и подвигом, казалось ей, достоин был храма высокого и светлого. И вдруг поняла: это — в напоминание мученичества его; это — «клеть каменна и тесна», как писано в житии, куда он был ввергнут жестоким царем, где непрестанно молился перед иконой Спаса, где приял от палача венец нетленный.

Она склонилась перед неразличимым ликом. И вот, подняв отуманенный взор на образ, увидела светлевший лик. Он проступал из синего полусумрака лампы. Она видела изможденный лик, вдохновенно взирающий на Спаса: сияние от написанного светильника перед Спасом озаряло этот горе вознесенный лик. Два лика видела Даринька: приемлющего моление Спаса — и молящегося Ему Святителя. Оба лика, казалось, связаны были светом, исходившим от них: светом Неизреченной Благости — неугасимой веры. В прояснявшемся образе Даринька увидела свиток с начертанными словами: «Аз есмь пастырь добрый...» и — в конце ниспадающего свитка: «И душу Мою полагаю за овцы».

Это не был образ Святителя, как уставно пишут: ни митры, ни Евангелия, ни благословляющей десницы. Это был образ коленопреклоненного, молящегося старца-подвижника, в холстинной ряске, опоясанного вервием, — образ смиренного русского затворника. В каменной клети не было и оконца, все тонуло во мраке, и оттого ярче светились лики.

Даринька не слыхала, как отошла обедня. Конец ее она стояла у входа в прдельчик. Подошел робкий мальчик и подал просвиру на тарелочке. Она приложилась к ней, как всегда делала.

Молебен служили с певчими. Хотелось домой, а тут батюшка напомнил вчерашнее обещание зайти к ним чайку откусать: «Матушка ожидает вас».

Чай пили на террасе, был горячий пирог, клубника с грядки. Показывали альбом. После батюшек, матушек и архиереев Даринька увидела прежних владельцев Ютова: важную барыню с лорнетом, жидительницу прдельчика, и «Олюшеньку нашу», — батюшкины так называли. «Правда, какая милая... глаза какие?..» Даринька узнала, что Ольга Константиновна была «вся необыкновенная», и болела — истаяла, «стала как ландышек». «Знаете, Дарья Ивановна... — воскликнула Надя, — до чего же ваши глаза похожи!..» Батюшка только рукой махнул: «А, ты, стремига-опрометь!..» Провожали «до ветел», всем семейством.

VII ОТКРОВЕНИЕ

Наденька провожала «до овсов». Рассказывала, что Олюшенькина мамаша, маловерка, очень чтит Святителя, сама начертала план прдельчика, и мысль иконы тоже ее.

— Наше постижение сердцем проявляется даже у равнодушных к вере. Гордячка, баронесса, даже не чисто русская по отцу... и так православно выразила. Папаша говорит — на баронессу сошло, от Святителя. Знаете, она по матери князьего рода, который от старобоярского, откуда и Святитель.

— Из их рода... Святитель?!.. — сказала Даринька и приостановилась.

— Да, из истории известно. Там на стенке «родословное древо», видели? Вера Георгиевна доводится пра-пра-правнучкой Святителю, какая-то в ней капеличка той же крови. Правда, как удивительно?.. Хладная, полунемка... — и весь русский Святитель-мученик! Вдуматься... вон поезд за рощей, телеграф, газеты получаем, воздушные шары летают... другая совсем жизнь, новые идеалы, нигилисты, неверие... все другое!.. а Святитель все еще будто с нами, близко...

— Близко... — тихо-вдумчиво отозвалась Даринька.

— Все изменилось за триста лет, а святая капелька жива, хранится. Эта капелька и одолела в баронессе равнодушие, проняло-таки ее, сошло!.. В Олюшеньке было еще больше от Святителя, она так все глубоко чувствовала!.. ах, какая душа!.. И не захотела замуроваться в известку, велела похоронить себя по-православному, в березах, где православный народ... чтобы и ветерок, и солнышко, и цветочки полевые наши... И там осеняет ее Святитель...

Почувствовав слабость. Даринька присела у овсяного поля.

— Как побледнели вы... — испугалась Надя, — дурно вам?..

— Устала... Идите, милая, теперь мне лучше... сколько у меня дела дома. Нет-нет, идите...

Они простились. Даринька прошла немного и приостановилась, вдумываясь в слова Нади.

«...Его же рода...»

Смотрела с высокого овсяного поля. Все перед ней казалось теперь таинственным, священным, все было освящено Святителем. Она прижала руки, чтобы унять сердце. И чувствовала, что тягота и смута ее оставили.

Это она отметила в «Записке»:

«...Ныне отпускаеши рабу Твою, Владыка, по глаголу Твоему, с миром...»

«Во мне все осветилось, и я поняла, как должна жить. Все в моей жизни было для исполнения мне назначенного».

VIII МИГ СОЗЕРЦАНИЯ

Она поклонилась земно сияющему храму, лазурной дали и, радостная, повернула в Уютово.

Жаворонки звенели журчливой трелью, и она пела с ними сердцем. Пела всему, что открылось вновь ее глазам: овсам, тропке, старым плетням в бурьяне, малиновым колючкам татарника, цеплявшим ее за платье; золотившимся в солнце пчелам, реявшим над малинником в низинке, валкой калитке в зарослях лопуха, крапивы, сочным дудкам морковника, раскрывшим перистые зонтики в манной крупке... Увидала под елками маслята, высыпавшие из-под смолистой хвои после дождей, вдыхала острую их смолистость, радостно любовалась ими, липучими, как в детстве... Вздрогнула от взвизга выскочившей из малинника Анюты: «Ды-ба-ры-ня, ми-лыи... чисто мы в рай попали!..» Приласкала ее, спросила, что она делает. Анюта насторожилась и шепнула, что бабушка Матвевна ух, строгая, — «а правильная, дедушка Карп сказал». Чуть свет в лес ее за грибами подняла, цельную она плетушку березовичков наломала к пирогу, а теперь малину подвязывает, краснеть начала малина... Пахло от нее малиной.

Проходя мимо кухни, откуда тянуло пирогами и грибами, Даринька увидела Матвевну и зашла. На выскобленном столе лежала груда клубники, руки Матвевны были в клубничном соку, пахло клубничным духом.

— Уж и нарядные... — покивала Матвевна, любуясь ею.

Даринька стала говорить, какая чудесная у них церковь и какой вид «с нашего овсяного поля...» В порыве радости обняла Матвевну, поцеловала морщинистое лицо ее. Сумрачное лицо смягчилось, и всегда сдержанные губы приоткрылись чуть различимой улыбкой.

Шла цветником-розарием, остановилась отцепить от шипов рукавчик. Алеша сходил с террасы,

остановился и смотрел, как она отцеплялась. Увидала его и крикнула:

«Здравствуйте, идете рисовать картинки? какое утро!.. вы хорошо срисуете сегодня!..»

— Да, сегодня хороший свет, — сказал Алеша, — в березах тонкая полутьма.

— Где, в березах?..

Он сказал, что это на кладбище, березы, и воскликнул:

— Одну минутку... ваше платье на солнце, в розах... вы светитесь!..

— Вот и ваш голос услышала... — сказала она весело, — больше не будете грустный?..

— Нет. Мы с Костей всю ночь проговорили. Там... — он мотнул ящиком к веранде, — записка вам.

На веранде было празднично накрыто к чаю. На горке стояли невиданные цветы — крупнейшие колокольчики. Виктор Алексеевич встретил Дариньку, праздничный, в свежем кителе, одеколонный.

— Ты ослепительна, вся сияешь.

Она упала устало на качалку.

— Чудесно там... все чудесно!..

Он встал рано и осматривал усадьбу. Сказал, что у них оригинальный садовник, и зовут его Мухомор.

Она слушала его рассеянно, будто была не здесь. Попросила дать ей «теплоты», красного вина с горячей водой. Увидела записку. Ютов писал:

«Благодарю за нас, за всех здесь. Мне стыдно за вчерашнее, но вы все поняли и простили. И уезжать не хочется, и будто сегодня праздник».

Виктор Алексеевич выложил на стол недавно принесенную депешу, сказав: «Так кстати».

Доверенный покойного брата извещал, что обнаружилось свидетельство на золотиносные участки по Лене, компания предлагает 30 тысяч. Виктор Алексеевич уже ответил, наудачу: «40 тыс.». Смотрел выжидательно на Дариньку.

— Зачем нам так много денег? — сказала она рассеянно.

Он пожал плечами: так много? для нее, для Уютова, она обо всех болеет, и это как бы дар Уютова ей... чтобы содержать, как все есть, надо много денег... и он принял это известие, как... Он остановился, подыскивая слова...

— ...Так, значит, надо... ну, как твое счастье.

Она смотрела в сад сквозь пальцы, как любят смотреть дети. Он спросил, слушает ли она.

— Да, я слушаю. Я рада, что ты считаешь, что так надо, что это дар...

Он хотел ответить, но его остановил помутившийся взгляд ее. Губы ее полуоткрылись и дрогнули. Он растерялся, кинулся за спиртом, страшась... Было в нем такое, как в Москве, когда

подкрадывался кризис. Когда вернулся, Даринька лежала мертвенно-бледная. Призывая Бога, — «да, призывал, хоть и не верил, не решил еще», — рассказывал он, — он растирал ей лицо одеколоном, расстегнул платье и почувствовал, что она отстраняет его руку. Она повела губами, глаза полуоткрылись, и ему показалось, что она вслушивается во что-то... Смотрел на нее и думал, какая чистота и красота доступны человеческому лицу. И услышал шепот:

— Какие цветы... откуда? как это... называют?..

Он не знал. Это были великолепные глаксинии, крупными колокольцами-бокалами склонявшимися к бархатным широким листьям: голубые, синие, белые как снег, розовые... — редкие тогда цветы — экзотика.

— Будто позванивают... — шептала Даринька, — тихо-тихо. Помню теперь... мы в Уютове... а там... овсяное поле, церковь... Святитель... всё снял, простил... и теперь легко...

Он подумал, что она бредит. Хотел помочить лоб одеколоном, но она отстранила руку.

— Я все помню, это не во сне. Я видела там... что я видела?.. не помню.

— Что, где видела?..

— Забыла. Видела цветы... не помню. Дай «теплоты». Разве ты не знаешь, — сказала она с досадой, — хочу пить. — Она развернула платочек на коленях, стала есть просвирку и отпивать «теплоты». — Ах, какой снежный колокольчик!.. райские цветы... — сказала она раздумчиво, будто припоминая что-то.

Виктор Алексеевич удивился, как быстро к ней вернулись силы. Стала рассказывать о церкви, об овсах...

Вечером, когда суета затихла, поведала ему о Святителе.

Когда она вкушала просфору, вошла Матвевна, праздничная, в шелковой шали с «желудями», с пирогом на блюде, и поздравила с праздником. Ее усадили пить чай. За ней вошла Анюта, тоже нарядная, и подала плетушку шпанские вишни, персики, созревшие досрочно в грунтовых сараях. Матвевна сказала, что теперь начнем посылать в Орел и Тулу, бакалейщикам.

И вам, в полную усладу. Как заведено, батюшке корзинку, вишенками себя порадуют.

Так благостно началась новая жизнь их в Уютове.

IX ВЫСШАЯ ГАРМОНИЯ

Чувство душевной легкости и свободы было так сильно в Дариньке, что она не могла вынести его: оно искало исхода. Ей хотелось «обнять весь мир», говорила она, не зная, что так же чувствовали другие, это познавшие.

Виктор Алексеевич читал ей «Иоанна Дамаскина», поэму А. К. Толстого. Она не раз перечитывала ее и многое знала наизусть, особенно стихи, вдохновившие Чайковского: «Благословляю вас, леса...» Она напевала их за вышиваньем или в саду, с цветами. Когда Виктор Алексеевич впервые читал ей эти стихи, она сказала: «Это то, то!» В «благословении» Дамаскина ей открывалось неизъяснимое, как в радовании на овсяном поле. Он понимал это состояние, но не отдавался сердцем. Впоследствии, многое выстрадав, он в полноте постиг это паренье души.

— После томлений от душевной пустоты, после преодоления «логики реальных фактов», — рассказывал он, открылось и мне это благословение всего, возносящее душу радование. Когда мне

открылось это во всей полноте, отчасти это мне открылось, когда, рождественскою ночью, в Кремле, я слышал, как пели звезды, — и я почувствовал в моей душе высшую гармонию, я понял, что в сравнении с этим все песни земли — томление, немощь. Песня души непереложима в звуки. Тогда мне стал понятен восторг подвижников, гимны христиан в цирках, благословения гонителям, что духовно слепые называют «неврастеническим экстазом».

Виктор Алексеевич — это было незадолго до его «последнего шага» — любил читать вслух этот отрывок из поэмы, в память о незабвенной. Она для него училась пению. Еще в Страстном она выучилась нотам, у ней был удивительный по чистоте и красоте контральто, говорил известный когда-то певец, проживавший в своем поместье недалеко от Мценска и дававший уроки избранным.

— Стихи эти напечатаны, но могут проглядеть их, книга может и не попасть на глаза... вот почему каждый должен их знать наизусть, как детскую молитву!.. — говорил восторженно Виктор Алексеевич. — Если бы слышал Чайковский, как она пела их!.. Я послал ему благодарственное письмо, и он был добр любезно ответить мне. Прислал даже Дарье Ивановне свой портрет, в обмен на ее, тайно посланный ему мною, и надписал на нем: «Душе, постигшей Высшую Гармонию, не мою, конечно».

Высокое овсяное поле стало для Дариньки священным местом, ее фавором. Она любила ходить туда и размышлять, смотря на сияющую в лазури церковь, откуда лился на нее свет. Радостно хранила в своем сердце, что Святитель принял ее под свою защиту, и все, что было, — был ее путь к нему.

Х ЗЕМНОЙ РАЙ

Обморок с Даринькой, не первый за два года, встревожил Виктора Алексеевича, и он решил показать ее специалистам, — не болезнь ли сердца. На сердце она не жаловалась. Нервное? Он помнил ее галлюцинации, когда она болела, да и после — явление ей матушки Агнии. Тогда это объяснялось тем ужасным, что было с ними. А теперь, когда «все это кончилось», — разумел он историю с Вагаевым, — какая же причина? Может быть, от сильных впечатлений, от встречи с «земным раем», — так и он называл Уютово. И вчерашний день был полон волнений, хоть и приятных, и потому он просил ее отложить осмотр усадьбы. Но она проявила настойчивость, даже властность, чего он и не предполагал в ней. Всегда кроткая, Даринька заявила:

— Ты говорил, что купил Уютово для меня и я тут полная хозяйка. Ну, и надо слушаться хозяйку.

Он пришел в восторг от ее «игры», — он принял это за полное забвение всего, разумея «петербургскую историю». Он не знал, что она теперь чувствовала себя «развязанной», что встреча со Святителем дала ей безмятежность.

— Я принял это за ее «игру» со мной, — вспоминал Виктор Алексеевич, — за ее ответ таким «коккетством» на мои настояния чувствовать себя в жизни госпожой и перестать всего пугаться... Отец Варнава назвал ее провидчески — «пуганая». В действительности это было началом ее господства, оправданием имени — Дария, во исполнение слова отца Варнавы: «победишь». Но, проявляя свое господство, она оставалась прежней, привлекавшей лучившеюся из нее чистотой и этой неопределимой женственностью. Тут не гётевское «извечно женственное», а глубже. Барон Ритлингер кощунственно называл ее «пречистой», вольничал поэтически Вагаев. И я не раз ужасал ее, именуя... Она умела обходиться со всеми так, что никто не чувствовал ее господства, а выходило, что иначе нельзя, все этого и хотят, и рады повиноваться ей. Это можно определить: мудрое воспитание. Мог ли я думать, что скромница окажется сильнее насильников, слабая будет ломать крепышей!..

Нетерпение — скорей побежать, посмотреть, не дававшее ей вчера заснуть, сменилось покойным сознанием, что все здесь — ее, спешить не надо, а принимать благодарственно, как дар, и не для

нее только.

Ознакомление с Уютовым она начала с цветов.

Она позвала Алешу. Виктор Алексеевич говорил с Матвевной о хозяйстве, и она не стала отрывать его от дела. Тут же был и Кузьма Савельич, бурмистр когда-то. Он был дряхловат, с клюшкой и в валенках, смиренный, робевший даже. Когда барин спрашивал его, он прикладывал руку к уху и привставал, оглядываясь на Матвевну, так ли он говорит, Даринька сказала ему, что о делах переговорит с ним сама. Кузьма Савельич привстал и поклонился, у него задрожали губы, и клюшку выронил.

Осматривали верхний цветник — розарий. Понравились ей развалистые кусты с пышными розанами, дышавшие «миром драгоценным»: с детства она любила этот запах, от святой Плащаницы и елея. Алеша объяснял, что Матвевна посылает в полдень внучек Савельича собирать лепестки и сушить для орловских аптекарей.

За розами открылись стройные ряды белых лилий, — «архангельские», назвала Даринька. Греза своей тайной, с золотыми сердечками, стояли они дремотно — чистые девы, в ожидании несказанной встречи.

За лилиями кустились белоснежные пионы, припоздавшие из-за большого снегопада, — «Троицны цветы». Всегда на Троицу ходили с ними в церковь, и по всем комнатам стояли их пышные букеты.

Осматривали среднюю площадку — газоны из цветных трав. Это были «персидские ковры». Чтобы увидеть всю красоту их, надо было взойти на стоявшую с краю вышку. Все это устроил Мухомор.

— Как-то, — рассказывал Алеша, — бабушка Вера рассердилась на старика Кузюмова. Летом она обычно жила под Ригой, в имении дедушки-барона. Там были великолепные цветники, а здесь полное запустение. Эта усадьба и далеко кругом было когда-то родовым имением ее отца, моего прадеда, И вот как-то она приехала с мамой на лето, задумала строить придел в Покровской церкви. Мама только что окончила институт, очень любила ботанику, и бабушка пригласила давать ей уроки молодого ученого, Ютова. Приехал с визитом старик Кузюмов с сыном, студентом. Стали часто ездить. Молодой Кузюмов сделал маме предложение, мама отказала. Старик Кузюмов рассердился и назвал бабушкино имение дырой, а про цветник сказал: «Тут свиньям только гулять!» Бабушка была очень самолюбивая, сейчас же выбрала самого способного садовника и послала в Петровскую академию выучиться всему у известного Шредера. Тот вернулся совсем другим, набрался у студентов учености, все у него спуталось в голове, но отлично узнал все садоводство. Папа говорил: получи Каморов образование, мог бы стать великим натуралистом. Почему Мухомор? Это Матвевна прозвала. У него странность, ужасно боится мух. Увидел у студентов в микроскоп муху, сколько на ней «заразы», с того и началось. Матвевна смеется ему: «Глупый, Бога не боишься, а мухи боишься!» Изобрел какой-то «мушиный яд» и все прыскает. И всегда в балахоне, и шляпа под мухомор, — мухи, говорит, страшатся. Но очень добрый...

Поднялись на вышку, и открылись «персидские ковры».

— А вон и Мухомор, — показал Алеша, — у озерка, глядит на небо. Может стоять часами и думать. На Сократа очень похож.

Даринька не знала про Сократа. Спустились с вышки и подошли к озерку. Озерко было маленькое, как бассейн, но совсем будто настоящее. Заросло по краям тростником, торчали бархатные «банники», дремали крупные кувшинки, розовели елочки болотной гречки. На широких листьях нежились на солнце изумрудные лягушки-негодники, суля ведро. Маленький островок был голубой от незабудок и колокольчиков. Когда они шли к озерку, с маленькой ивы упал в траву соловушка. Заслышав шаги, к ним обернулась странная фигура, в гороховом балахоне, сняла

размашисто гриб-шляпу и театрально раскланялась:

— Мое почтение созерцателям! присядьте и любопытствуйте водяным пейзажем!..

— Здравствуйте... — сказала, чуть не рассмеявшись, Даринька. — Никогда такого не видела... прямо чудо.

Мухомор пробормотал: «Все это пустяки», — и шлепнул шляпой по скамейке, приглашая сесть. Скакнул, что-то повернул в траве, и вокруг озера начали бить фонтанчики на кувшинки, закрапало по листьям, а из малютки ивы вырвалась высокая струя, рассыпаясь в радужные брызги.

— Господи, чудеса!.. — воскликнула Даринька.

— Не чудеса, а продукт головного мозга!.. — сказал Мухомор. — Крантик приверну, и чудеса пропадут.

Они рассмеялись, и с ними залился смехом и Мухомор. Алеша сказал, что это новая хозяйка, очень любит цветы. Мухомор склонился, отведя шляпу в сторону, как кавалер в театре, и высокопарно проговорил:

— Очень приятно познакомиться, буду иметь в виду. Но... — он поднял палец, — для умственного человека, царя природы, не может быть хозяина. Каждый сам себе хозяин... — и сел перед ними на песочке.

Он был приятный, среднего роста, с мечтательными глазами, с остроугольным лицом. Когда он улыбался, живые глаза его казались изумленными, будто вопрошали: «А правда, как хорошо все?» Он часто выбрасывал перед собою руки, словно необыкновенное увидел. Было ему к шестидесяти, но он был удивительно подвижный, попрыгивал, как кузнечик. Жил он в шалаше, в яблонном саду, до морозов, спал без подушки, питался только плодами и овощами, пил земляничный чай. Маму боготворил, выращивал для нее новые цветы. Каждый день ходит на ее могилку и украшает.

Летники были всюду, подобранные так тонко, что вечерами лилась «симфония из ароматов».

От цветника они поднялись к парку.

Был это не обычный парк, с унылой точностью разбивки, а «сама натура»: приволье, солнце, тропки — ходи как знаешь. За домом кучкой стояли ели, в розовато-медных шишках.

Мухомор свистнул, и Даринька увидела белку, махнувшую в воздухе правилом. Мухомор бросил горсть орешков, скользнули по стволам две белки и принялись угощаться. Он подмигнул восхищенной Дариньке и, сам явно восхищенный, выкинул вперед руки.

— Как в раю!.. — воскликнула Даринька, — ни капельки не боятся!..

— Есть глупые простосерды... признают за факт, будто был рай какой-то! — сказал Мухомор усмешливо. — А мы свой рай устроили, вот это истина.

Даринька осенилась- вспыхнула:

— Если бы рая не было, вы бы о нем и не знали. А вот чувствуете — и радуетесь.

Мухомор взглянул на нее, на небо, подумал и сказал, будто удивился:

— А это верно... «не знали бы...». Если бы не было?..

— Конечно! В нас только то, что есть. Если веруют в Бога или сомневаются, есть ли Он... это

потому, что есть Тот, в Кого горячо веруют, Кого безумно оскорбляют! Чего нет, о том не думают.

Это выкрикнулось само, отстоявшееся от чтения духовных книг, от наставлений старцев, от потаенных размышлений. Она не верила Алеше, когда он ей напомнил, как она сказала. И знала все же, что это правда: он так восхитился, что хотел поцеловать ей руку. Она видела, как Мухомор выкинул руки, огляделся растерянно, вытащил измятую тетрадку и стал записывать.

— 3-замечательно вы, барыня, сказали, пре-мудро!.. — выкрикнул он, весь в думках. — Такого... еще не доводилось слышать, никак не думал...

За елями открылась луговина, на которой стоял могучий дуб.

— Звание ему — Грозный. Старики сказывают: Иван Грозный под ним сидел и велел сжечь все место, бояре тогда тут жили. Приятель у меня тут. А ну, дома ли?.. — Он постучал ключиком по жестяной коробочке: - Гри-шка-а!.. дома ты, а?..

Они услышали карканье, из дуба поднялся ворон, дал круг над луговиной и опустился с краю.

— Свои, не бойся.

Ворон вперевалочку пошел к ним. Мухомор дал ему кусок сахара.

— А супруга Матреша по делам, значит, отлучилась. Утром первые Матвеvну поздравляют. Им обрезки даются, Ольга Константиновна так распорядилась. Жильцы старинные. Пришел пост — постись, у Матвеvны строго, капустку едят.

Прилетела на ключик пара лесных голубей, витютней, села на сучья дуба и повела переливчатое свое «урррр-урррр»...

— Гришке строго заказано никого не трогать, нет у нас никому обиды. Как ястреб — Гришка на караул, покружит дозором — без боя отплывают.

— Господи, что же это!.. — воскликнула Даринька.

— Стало быть, рай... земной, — сказал Мухомор и выбросил к ногам Дариньки горошку.

Витютни опустились к ее ногам, склевали и отлетели. Даринька с детства знала медведиков преподобного Сергия, и старца Серафима, и «доброе волка» какого-то пермского затворника. Но и от этих «малых» светилось сердце.

За кустами калины и волчьих ягод открылась солнечная поляна, яркая от цветов, любимых с детства: кашки, белопоповника, смолянки, курслепы, золотисто-млечного зверобоя, —дохнула медом. За ней начались березы, перемежаясь лужайками. В затини по опушкам дремотно стояли с детства любимые восковки — фиалки-любки, с безуханными лиловыми. Попадались гнезда отцветших ландышей, луговые бубенчики... Показался неплодный островок, в поросли можжевельника, в плотно прижавшихся розанах заячьей капустки, в бессмертниках. Стоял под накрытием высокий крест. Эта неплодная поляна звалась Крестовой: кого-то убило в старину молнией.

XI ПСАЛМЫ

На песчаной плешине рос белый донник, пестрела иван-да-марья, стлалась мать-мачеха. Рубчатый жесткий хвощ красовался ярусными своими перемышками, путался по ногам черничник и брусничник... — постная, жесткая плешина. Чернозем здесь, но на эту плешину свезли песку, для этих пустынножителей.

Пошли перелески, рощицы. Тут водятся грибы, от белых и до груздя. Мухомор переносил грибницу, капризничали грибы, но он добился. Ему удалась даже пересадка деликатесного гриба, похожего на торт, осыпанный миндалем и сахаром. Соус из этого гриба побивал шампиньоны и трюфели.

Через канаву с валом, обсаженным густо елками, попали в яблонный сад. Приземистые, широкие, нежились в солнце яблони, лучшие из лучших: двенадцать сортов — из семисот, что водятся в России. Как и в «парке», на яблонях висели берестовые тески — кормушки. Многие птицы поулыкали, но тут слышался щебет и свист всякой пернатой мелочи.

— Со-рок пудов! воскликнул Мухомор, — Всякого семени-зерна. Да они нам с лихвой отплачивают, чистят деревья во как! Всех этих мух окаянных, заразу эту... без них бы всему погибель!..

Он сорвал свой «гриб» и хлестнул по балахону в исступлении.

— Берегитесь, страшитесь проклятых мух!.. — завопил он, выкатив в ужасе глаза. — Это чума, холера, гнусная нечисть окаянная... чтоб им издохнуть! черт их нам припустил!.. опыты изобретаю, замучили, окаянные!.. Уу-у, про-клять!.. на каждом волоске тифозная горячка... тыщи миллионов безвинных человек пропадают от такого ничтожества!.. В газеты подавал, а те на смех: «Ставьте мухоловки!» Погубят они нас, страшные сны мне снятся... у-у, гнусы!..

На изможденном лице его был ужас, катился пот. Алеша катался по траве от хохота. Не выдержала и Дарннька. Мухомор даже растерялся.

— Голубчик, успокойтесь... — сказала она, — я тоже не люблю мух. В церкви молятся даже — избавить от гнуса. Всегда молятся. Если муха попадет в сосуд, его очищают молитвой, такая молитва есть... окропляют святой водой.

— Молитва?.. есть молитва?!.. — воскликнул Мухомор. — От мух?!.. Эт-то вот замечательно. Не знал... Значит, и в церкви опасаются?..

— Да обо всем молятся! Вода осквернилась чем, овечка ли родилась, новое жилище построили, первые плоды вкушают... все освящается молитвой, на все призывается Божне благословение. Вот новую вы яблоньку посадили... — всегда православные молятся, хоть в сердце. Как это хорошо, помнят о Господе, все сотворшем... и человека, и яблоньку. Ведь все на радость человекам, и Церковь разделяет со всеми эту радость и молится о всех и за вся...

Она разгасилась от возбуждения. Мухомор слушал как зачарованный. Восторг был в глазах Алеши.

— Как вы говорите... — сказал он тихо.

— Не знал!.. — крикнул Мухомор, осматриваясь растерянно. — Не знал! Ведь это... самая фи... лозо-фическая правда! За всех и про все!

— «О всех и за вся». Разве вы не слышали? Каждый день, в обедню, во всех храмах... возносят молитву — песнь — «о всех и за вся»: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи...»

— Не знал, не слышал! И никто мне про это не сказал, из самых даже мудрых ученых!.. Это я запишу... такая мысль высокая!.. — шарил он тетрадку в балахоне. — Чего вы мне, барыня, сказали!.. Будто и во мне... я свои молитвы сочинял, как вот сюда дойдет... — и он уныло махнул рукой.

— Зачем же сочинять, все же есть!.. — воскликнула Даринька. — Молитвы... Ах, какие молитвы есть... не знаете вы. Вы, бедный, ничего не знаете. У нас в Страстном... — она остановилась и, тряхнув головой, будто решила что-то, мешавшее, сказала:- Я раньше в монастыре была, белицей... Там была очень ученая монахиня, знатного рода, матушка Мелитина. Она училась на ученых курсах и все знала. Все травы, все цветочки знала... и была святой красоты! Белицы говорили, что ее жених был убит на войне и она ушла в монастырь. Она часто звала меня, баловала, учила на фисгармонии... Чудесно она играла на фисгармонии!.. В покоях у ней было много книг, и несвященные были даже, и мне давала читать, хорошие, чистые... и где самые возвышенные молитвы. Ах, какие молитвы есть!.. И говорила, что самые духовные молитвы написали славопевцы, псалмопевцы... помню, говорила — «как знаменитый Пушкин». И вот, даино, один знаменитый псалмопевец... злой царь велел отсечь ему руку, а рука приросла, звали его Иоанн Дамаскин. Его молитвы и теперь поются в церкви...

— Не знал! — воскликнул Мухомор. — Поэт Пушкин молитвы сочинял?! И все древние сочинители... то-же?.. И никто мне... вы первая мне открыли. Вот не знал, и никто мне... Спать в шалаше по ночам не мог... все хотел выразить из себя, как хорошо!.. яблоньки цветут, а там звезды мигают... и петь хочется, и плакать, до чего хорошо!..

— Это вам молиться хочется! как сказано — «от избытка сердца уста глаголят». И звезды поют, и моря, и горы поют, и бездны отзываются... все славят Того, Кто сотворил все. Об этом поется в зачале всенощного бдения: «Вся премудростию сотворил еси...» Вы читали Псалмы?

— Псалмы?.. какие псалмы? — спросил Мухомор. — Там про это?..

— Там про все! Там «бездна духовная», матушка Мелитина говорила. «Дарочка... — говорила, — только сердцем можно познать Господа. Молитва, песнопения, духовная музыка умягчают душу и открывают пути к Нему».

— Ах, как вы говорите... это ангел поет, ангел!.. — возопил Мухомор. — Сколько мне духу придаете!.. как все проникнуто!.. А там самые ученые мне не говорили, в Петровской академии!.. почему это, а?!..

— Это вы поставили чудесные колокольчики? я никогда таких не видала.

— Глоксинии? Покойная Ольга Константиновна обожала их. В полной силе теперь, я их и выставил. Вам нравятся?..

— Это же райские цветы! Будто они поют... дремлют и тихо-тихо позванивают, будто... я слышала...

— Слышали?..

— Сердцем слышала. Вы чувствовали когда, как цветы... шепчутся будто когда очень тихо?.. будто это тишина поет... будто она живая?..

— Яблони когда цветут! — воскликнул Мухомор. — Уж спят все, а еще заря, все птички спят... тишина-а... И вот, слышу раз, цвет-то яблонный, молочко розовое... чу-уть будто поигрывает, шелесток такой, чу-уть с подзвоном! Прямо обомлел. Живое будто свой голос подает... во мне-то, слышу, поет!.. Сказал доктору Ловцову, а он мне- «в ухе у тебя звенело». Я ему сказал: я знаю, когда в ухе, а это внутри!..

— Когда большая радость... радость это поет. Я слышала сегодня утром на овсяном поле. Жаворонки пели, и будто овсы... тоже пели. Пришла, и колокольчики ваши... играют, слышу...

ХИ ВЕЩЕЙ РОЙ

Она чувствовала себя на крыльях, спешила увидеть все. Мухомор был в мыслях. Алеша молчал. Она спросила его, почему он опять молчит, — устал показывать?

— Я?! — будто проснулся он. — На вас молиться можно... — смущенно сказал он тихо и опустил глаза.

— А вон, за сиреньками, — показал Мухомор, — Ольга Константиновна церковный сад устроила...

Даринька хотела спросить про «церковный сад», но ее отвлекла сиреневая заросль. Не только заросль, а высившаяся над ней рябина, завешенная гроздьями. Толкнулось сердце в испуге, и она остановилась перед сомкнутыми сиренями.

Эта рябина над сиренями напомнила ей московский сад, то место, где недавно простилась она с Димой. Было совсем как там. Она вспомнила большую клумбу, засаженную маргаритками. Она выкапывала тогда в лоточек маргаритки, и вот, белея в деревьях китемем, неожиданно явился Дима проститься с ней. Теперь, увидав рябину, она почувствовала тоску и боль. Не темная была тоска эта, и боль — не больная боль, а светлая тоска и боль-грусть.

— Совсем как тогда!.. — невольно воскликнула она, — там... клумба, в маргаритках...

— Маргаритки?.. — крикнул удивленный Мухомор. — Сейчас увидите маргаритки!..

Он шархнулся, разодрал и примял сирень, и она увидела большую клумбу, покрытую маргаритками, и лавочку, как и там.

— Господи... — прошептала она в испуге, смотря на клумбу.

— Присядьте, барыня, на лавочку, устали... — услышала она голос садовника, еще державшего кусты сирени.

Она почувствовала большую слабость, села на лавочку и смотрела на маргаритки. Грустны были они, розовые и белые, немые, как таимая в сердце боль. Это были другие маргаритки, махровые, но они были грустные, как и те. Она видела те, и белое, то, платье, свои руки, в земле от маргариток... слышала треск кустов, видела белую фуражку на сирени... Все помнила. Взял он с куста фуражку, слышала, как сейчас: «До свиданья?..» Как потянул белую сирень, которой она укрыла слезы... Последнее слово слышала — «Чудесно!..» — крикнул он там, за садом.

Даринька поглядела на небо.

Чудесно было в лазури, в набежавшей снежности облачка. «Какая чистота... — думала она, смотря на таявшее облачко. — Такая его душа... тогда открылась...»

Мысль, что Дима-чистый, что он понял ее, смирился и выбрал достойный путь, свеяла грусть, и она снова почувствовала себя «отпущенной». Чудесное какое небо, какое чистое, — смотрела она в безоблачную голубизну.

— Смотри-ка ты, что... а!.. — услышала она голос. Алеша и садовник смотрели на рябину. Мухомор указывал на что-то, тряся пальцем. Она спросила, что это там.

— Рой, рой сел!.. и, — сказал шепотом Мухомор, — Егорыча надо, он умеет их огребать... — и побежал на пчельник.

Даринька увидела в рябине отблескивавший золотцем темный ком, державшийся чудом в воздухе,

под сучком. Вокруг этого, с голову, «яйца» вились и налипали пчелы.

— Рой увидеть- к счастью, — сказал Алеша.

— Никогда не видала... к счастью?..

— Такая примета. Вчера мы с Костей разбирались в чердаке. И вот в маминой шубке... она проветривалась перед слуховым окошком... вдруг увидели рой, в рукаве шубки, и Костя сказал: «Какое-то нам будет счастье?» И вот, приехали вы... вспоминали сегодня ночью. Будто мама дает нам знак. Костя не признает примет, а сказал: «В маминой шубке, счастье!» Пчелы всегда облепляют матку, где она сядет. И все говорили: «Будет счастье, вас мамаша не забывает». Вы приехали и сняли тяжесть, Костя веселый уехал...

— Какой-то «церковный сад»... говорил садовник?..

— Здесь особые цветы, «церковные»: астры, георгины, бархатцы, бессмертники... вон, за канавкой спаржи. И душистый горошек. Мама называла «мотылечки», очень любила. Эти цветы и спаржевую зелень посылали в церковь, на Животворящий Крест. И всегда хоругви украшали...

Пришел Мухомор с Егорычем, принесли лесенку. Веселый, подвижный Егорыч хотел ручку поцеловать, но Даринька сказала: «Нет, нет... батюшке целуют руку...» Егорыч покачал головой и сказал весело: «Ишь ты, какая умница-разумница! ну, поклонюсь тебе». Шутник был, Дариньку будто за ребенка принял, сказал:

— Ужо, на Спаса, загляни на пчельник ко мне, медком-почином попотчую новую хозяйку нашу. А на хозяйку-то не похожа, не строгая.

Смотрел умильно, и у глаз его лучики сияли, — совсем как пчеляки-монахи.

— А ну, загану тебе, а ты разгадай; «Висит мохнато, увидал — жить богато!» Чего будет?..

— Ро-ой!.. — засмеялась Даринька.

— Говорю- красавица-умница! А ну еще: «Сидят чернички во темной темничке, без нитки, без спицы, — вяжут вязеницы... ни девки, ни вдовы, ни мужни жены... детей не рожают, Господу Богу угожают»?..

— Пчелки!.. — воскликнула радостно Даринька.

— А, ты, бедовая какая, светленькая... — всплеснул руками Егорыч, — весело с тобой балакать. А теперь огребать давай, милая, тебе на счастье. Господи, баслови... далось бы...

Он покрестил рой, пошептал чего-то и полез по стремянке. Подставил под ком широкий сачок из кисейки и сверху тряхнул сучок. Ком мягко упал в наметку,

— Богатый роек, фунтикам к пяти, кака прибыль-то! На счастье тебе, роиться... — сказал он с ласковой ухмылочкой.

Даринька не поняла, чего это говорит «роиться». И вдруг так вся и вспыхнула.

— Како подвесило-то... молись Богу.

И пошел, покачивая в наметке, как кадило. Где висел рой, еще кружились сорвавшиеся с кома пчелы.

— Это здешний? — спросила Даринька.

— Егорыч наш, пчеляк, — сказал Мухомор. — Большой пчельник у нас к малиннику. Егорыч всегда оправдывается, пудов полсотни медку сотового продает Матвевна, Вещатель будто... погоду по пчелам за неделю знает.

— Вещатель?..

— Странный он, — сказал Алеша, — вещие сны видит.

— Да?!.. вещие?!.. — будто испугалась Даринька.

— За год еще сказал Матвевне про маму: «Не жилица она...»

— Так и сказал?..

— Да. Доктора думали, что малокровие, опасного не предполагали. А Косте сказал, когда решили продать усадьбу: «Продадите, да не продадите, все медок мой есть будете». Посмеялись тогда, а вот вы вчера сказали...

— Бывают чревовещатели... — сказал раздумчиво Мухомор.

Смотрели грунтовые сараи, полные шпанских вишен, персиков, ренклодов, укрытых стеклянными стенами. Оранжереи, налитые банным теплом, с апельсинами и лимонами в кадучках, с душистыми цветами и спеющими плодами. У Дариньки закружилась голова от парева и аромата. Не помнила, как очутилась на веранде в кресле. Виктор Алексеевич опять переволновался, укоризненно говорил: нельзя же так! Она истомленно повторяла:

— Сколько я видела... будто сон. Я видела, да?!.. — шептала она, осматриваясь. — Колокольчики... помню, теперь все помню... И пчелы у нас... сказал он... «молись Богу...»

Все, живое, стояло перед ее глазами, и все казалось чудесным сном.

ХІІІ ДЕЛАНИЕ

После первых дней возбуждения к Дариньке вернулось спокойствие, с каким она выехала из Москвы. Но спокойствие это не было, как тогда, отчуждением от жизни, а «сознательным деланием», называл Виктор Алексеевич, и это его приятно удивило.

Даринька заявила, что надо установить порядок в их жизни. Действительно, порядка в их жизни не было, было как-то неопределенно, до еды совсем в неурочные часы. В характере Виктора Алексеевича, при склонности увлекаться до фантазий, была привычка к порядку, привитая ему в отцовском пансионе. Он вставал в 6, хоть порой и засиживался за чтением и чертежами, вел дневник, любил тонкую простоту одежды, отличные платки, английские духи, гимнастику по утрам и холодный душ, не терпел сора, беспорядочной мебели, в работе был строг и точен. И было ему особенно приятно и неожиданно услышать от «внежизненной» Дариньки:

— Установим порядок, и прошу, если меня любишь, не нарушать его.

Он подумал, но не высказал ей: «Так дети играют в „хозяйку“ с куклами, милая какая важность». И был в восторге: может быть, наконец, выйдет она из «полубытия», е каком до сего жила.

В день осмотра усадьбы Даринька услышала благовест, какое же празднование завтра? Виктор Алексеевич сказал: воскресенье завтра. Она думала — пятница сегодня. Вспомнилось, как ошиблась в страшный тот день, в новолетие: была суббота, а она думала — пятница. Тогда, услышав благовест, она побежала в церковь, и это спасло ее от бездны. Вспомнила все, до ужаса,

как призывала, в отчаянии, зажатым плачем: «Матушка!..» И «явление матушки Агнии» спасло ее. Снова пережив тот ужас, Даринька взволновалась, воскликнула: «Иду ко всенощной!»

Виктор Алексеевич даже возвысил голос:

— Нет, ты не пойдешь!.. ты так измучена, это же самоубийство!..

Но она так взглянула и так решительно заявила, что пойдет, что должна пойти, таким голосом непреклонной воли, что он не настаивал.

— Вот когда я увидел всю красоту ее, силу ее воли!.. — вспоминал он. — Эта ледяная ее решительность, эти глаза в обжигающем и ледящем блеске, эта сила!.. Такой пошла бы она на сожжение. Это была такая страстность воли, что я просто окаменел. Она пошла, а я не помнил себя от счастья, какая она, моя. Я не пошел за ней, страшась раздражить ее заботливостью о ней, она не нуждалась в этом.

Она отстояла всенощную, уклонилась от приглашения матушки зайти чайку попить, — «сколько у меня дела!» — не забыла сказать отцу Никифору, что в доме еще не прибрано, просила поднять иконы в следующее воскресенье и вернулась в Уютово свежей, бодрой, Виктор Алексеевич глазам не верил.

Все у ней шло по ряду, словно она всегда была хозяйкой.

Она дознала, кто для чего в усадьбе, как устроен, и метила в тетрадке. Встретила милovidную девушку Таню, сестру подручного Мухомора, из села, и предложила — «в горничные ко мне». Девушка засветилась счастьем. И Даринька не ошиблась в выборе. Заглянула к Кузьме Савельичу, сказала, что подумает о его внучках, — они были смиренные, семи и девяти годков, «за все про все», из-за хлеба, — и назначила им по два рубля на месяц, а к осени возьмет их в город и купит обувь и что надо. Савельич, боявшийся, что его разочтут теперь, заплакал, когда услышал, что ему назначена прибавка жалованья и что посмотрит его доктор. Переговорив с Карпом и Матвевной, распорядилась переделать людскую, чтобы у семейных было отдельно, а не тряпки на веревках, какие-то закутки. Приказала пошить новые платья грязнухе-стряпке и старой горничной. Узнав, что повар Листратыч в больнице, запивает два раза в год, скоро воротится, сказала: «Мы его вылечим». И как раз когда о нем говорили, он явился, одутлый, желтый, и хрипнул сорванным голосом: «Здравствуйте, ее превосходительство!» Матвевна велела ему «вылеживаться»:

— Подгадал, кашу гречневую варили, тебя ждали.

Он как-то безучастно спросил-сипнул: «А не прогонят?» И добавил:

— Давно следует пьяницу... нечего и жалеть! Значит, хотите пожалеть. Сладким послужу, любят господа сладкое. А про вас слава загремела, в Амченске славится... про цветочки, Настеньку пожалели... я и помчал, на счастье. А то доктор придерживал, мененник скоро, для сладкого...

— Ступай, каша тебя ждет. — сказала Матвевна строго. — Только бы ему каша. Избаловали наши господа... Правда, лучшего повара поискать — не найти.

Даринька вспомнила про крупы: «В городе покупаем?» Матвевна подивилась: барыня все-то знает. И свободный клин есть, да и не ушло время, на Акулину-мученницу сеют, да за снегами все ноне запоздало. А уж на что лучше, своя крупа. И тут Даринька распорядилась. Все досмотрела, полюбовалась на кур, на гусей и уток. Понравились ей цесарки. Увидала хвостатого павлина-одиночку. Не понравился ей павлин: тревожное что-то слышалось ей в пустынном его крике.

— Не ко двору нам... — сказала Матвевна сумрачно. — Как их купили, в тот же год барин помер, язык ему резали... а через три годочка и барыня.

За птицей ходила застарка-девка, рябая Поля, унылая. Она и коров доила. Понравились Дариньке лошади: четыре, разной масти, особенно Зевака, — во что угодно. Были еще три «богаделки», для навоза. Додерживались-поскрипывали. Сказала Даринька: «Пусть живут, и на них достанет». Собак в Уютове не было с той поры, как забежала бешеная собака и перекусила ютовских. Не было и кошек: оберегали птиц. Только повар додерживал старого Бульонку, прогуливал на веревочке.

Переговорив с Матвевной, Даринька определила Карпа: правой рукой Матвевны, «за управляющего».

Не прошло недели, как все в Уютове отстоялось, получило налаженность. Все ходили довольные. Даже унылая Поля надела новую кофту и мыла перед доением руки с мылом, что-то уразумев, когда Даринька принесла ей розовое мыло и сказала, что барин любит парное молоко, «коровой не пахло чтобы».

XIV АЛЛИЛУЙА

На другой день разговора о гречихе лежавший под паром клин был уже готов к посеву. Матвевна позвала Дариньку, — высеять для почина горстку. Перекрестясь, бросила Даринька гречишку и загадала. И только бросила — заблаговестили ко всенощной, Петров день. Как была, в светлом ситцевом с васильками, в белой повязке, так и пошла на благовест.

Дивились бабы: то была барыня, а вот и совсем наша, чуть ли еще не краше. Взяв у Пимыча свечки — он радостно поахал, — вспомнила, что забыла цветы, возложить празднику. Поманила глазевшую на нее девочку и шепнула: «Беги к нам, скажи садовнику, пионов и лилий чтобы дал, побольше», — и дала гривенничек. Девочка кинулась к выходу, а бабы зашептались.

Возжигая свечки, Даринька заметила, как хорошо у окна, налево: окно открыто, летают с верезгом ласточки-береговки, вольная даль, луга, хлеба, позлащенные низким солнцем. И выбрала тут себе местечко, перед Распятием. Ее не смущало, что будет отвлекаться, смотреть, слышать, следить, как толкуются столбики мошкары: всё для нее сливалось с пением, со всенощной, казалось освященным, хвалу поющим.

За Шестопсалмием запыхавшаяся девочка подала ей большой букет лилий и пионов в вазе. Даринька потрепала ее по разгоревшейся щечке, измазанной малиной, похвалила и спросила, как ее звать, малинку.

— Манька... много у нас Манек-то, а я Устиньина... сестрица Таня в горнишных у вас.

Даринька выбрала пионы, пошла к налою у крылоса, где икона Праздника, склонилась перед Апостолами и возложила цветы. Пошла к окну взять вазу с лилиями, нести Святителю, и отложила: сейчас «Хвалите имя Господне...».

Царские врата отверзлись. В солнечной церкви стало полное многосветие, — вспыхнула зажигательная нитка, вспыхнули хрустали паникадила. На правом крылосе пробежало ветерком регентово «И-а-а-о-ооо...» — и стало разливаться, полнея и возносясь:

«Хва-ли-те... и-и-мя-а... Го-спо-о-о-о-дне...»

Пение Дариньке казалось светоносным, как никогда. Она смотрела в алтарный свет, клубившийся фимиамом, на крайние лампы семисвещника — золотую, розовую, пунцовую... — видела в радужном мерцанье...

...яко бла-аг... Аллилуйя...

Душа ее возносилась светло:

— ...яко в век ми-и-илюсть Его-о... Аллилуйа... Аллилу-й-а-а-а...

Осанной звучало в ней возносившее душу:

— ...Аллилу-й-а-а-ааа...

Она слышала чистый, восторженный голос Нади, и ей казалось, что и жасмин на темной головке Надиной пел тоже «Аллилуйа». И в верезге ласточек в лазури слышалось — пелось «Аллилуйа», и светоносное небо, тронутое вечерней позолотой, тоже хвалебно отзывалось:

— ...Аллилуйа...

— ...Аллилуйа...

И в дымном фимиаме, и в радужных хрусталях паникадила клубилось и блистало:

— ...Аллилуйа...

В окно вливалась вечерняя прохлада, медовое дыханье: в лугах начался покос. Там ворошили сено, пестрели бабы, сверкали грабли.

После «Хвалите» Даринька хотела нести цветы Святителю, но вспомнила, что сейчас Евангелие, и осталась. Она очень любила полное нежной грусти «Симоне Ионин, любиши ли Мя?..». Слушала псалом избранный — «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь». Слышала прокимен, глас восьмой, всегда ее возносивший: «Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы их». Таяло сердце, внимая: «Симоне Ионин, любиши ли Мя паче сих?» И отзывалось нежно: «Ей, Господи! Ты веси, яко люблю Тя». И снова — «Симоне Ионин...» и — «Господи! Ты вся веси... Ты веси, яко люблю Тя!» — «Глагола ему Иисус: „Паси овцы Моя“».

После Евангелия она понесла в придельчик голубую вазу. Ей показалось, — светлей в придельчике. Она затеплила свечки, склонилась и подняла взор на Лик. Не молилась, а благодарила, взирала сердцем. Об этом сказано в ее «записке»:

«...Я говорила: ты все ведаешь, снял путы мои и укрепил меня. Мне страшно, как я счастлива, но ты и в несчастье дашь мне радость...»

Она поставила лилии на столик перед образом. Так и осталась там голубая ваза, наполняемая всегда цветами.

На выходе она приостановилась взглянуть на образ. Вышла — и услышала удивленно: читали псалом пятидесятый. Не был то день недельный, не пели «Воскресение Христово видевше...» — и без нее отпели предканонные молитвы. И вот, неожиданно, покаянный псалом! После она узнала, что отец Никифор любит служить уставно, а в празднование Апостолам — особенно уставно-полно. Потому и читался этот псалом, как в монастырях. Читал выразительно Володя-регент. На выходе услышала:

— ...Се бо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоя явил ми еси. — И — далее: «Окропиши мя иссопом, и очищуся: омыеши мя, и паче снега убелюся».

И приняла это как обетование.

После всенощной она попросила Надю показать могилку Ольги Константиновны: ей трудно было одной. Не от радости о Святителе, не от вознесшего сердце «Аллилуйа»: другое было, таимое, — знамение, явленное ей. И потому трудно было ей быть одной.

Принятое ею как знамение помянуто в «записке». Выходя из прдельчика, она приостановилась и поглядела на образ: как будто велело ей что-то остановиться и поглядеть. И, выходя, услышала стих восьмой, знаменательный для нее. Она знала до слова псалом пятидесятый, «покаянный», и помнила, что перед этим стихом — «Се бо, истину возлюбил еси...» — был обличительный, страшный стих, напоминавший ей о грехе. В трепете и тоске всегда вслушивалась она в него, с трепетом повторяла его каждый день. И вот тогда не услышала она его, он прозвучал без нее: его закрыло. Так она и подумала тогда, уразумев, почему не слыхала. Вот то, что задержалась она — взглянуть на образ, и закрыло от нее напоминание о ее грехе, и она приняла это, что греха уже нет над ней. Она повторила в уме тот стих: «Се бо, в беззакониях зачата семья, и во гресех роди мать моя...» — и не почувствовала тоски и боли, ибо звучало в ней укрепляющее душу: «Омыеши мя, и паче снега убелюся». Верила, что внушено ей было остановиться и не слышать напоминания. И потому трудно было ей быть одной.

XV РАБА БОЖИЯ ОЛЬГА

Кладбище Покрова, не в пример сельским погостам, содержалось в большом порядке. Оно было окопано канавой с валом, в жимолости и барбарисе. Над замыкавшимися на ночь воротами висели иконы «Успение» и «Покрову». Много было черемухи и рябины, шиповника; трава была чистая, густая. К Зуше было светлей, почищено, осеняли могилы свежие белоствольные березы. От овсяного поля Дариньке показалось, что кладбище совсем на обрыве к Зуше, а тут она увидела, что до реки было еще ржаное поле. У самого поля и была могила рабы божией Ольги. Тут было открыто, вольно, глядела даль. На могиле не было камня, а только крест, голубцом.

— Пожелала так, чтобы был светлый крест, березовый. Ваш Дормидонт следит за красотой могилки... — сказала Надя, — какая чудесная лобеллия, как бирюзовый бисер. Какие георгины будут!.. правда, георгины самые духовные цветы, чистые, бесстрастные?..

— Да. В обителях особенно любят георгины...

— В Оптиной какие!.. до первого утренника только, зябкие они, райские...

В фонарике теплилась голубая лампадка в белых глазках. На кресте было написано по-славянски: «Раба божия Ольга».

— Тут уж ни Ютовых, ни... Папаша говорил проповедь о «могилке без надписания». И все поняли. В церкви был амценский купец, ужасный скаред... собак даже не держит, а сам лает! выйдет ночью и лает, не отличишь. После проповеди вдруг — три рубля — «на помин души барыни Ольги». Память ее была, мы пели с большим воодушевлением... растрогался он, головой все покачивал. И вдруг с нашим мужичком прислал десять фунтов пряников — «на певчих»! Ахнули, скаред такой, Понитков!.. Какое облачко!..

На закрое неба лежало золотое блюдо, светилось розовым, будто стекало с него розовое масло, «миро небесное». Смотрели, пока не излилось оно последней каплей.

— Приходите к нам, — сказала Даринька, — так с вами хорошо.

— Как я вам рада... — сказала Надя взволнованно. — Простите, всегда глупые слезы... как взволнуюсь. Наш докторишка всегда: «Здравствуй, истерика!» Вы его не знаете... ужасный циник. Думает, что спас меня от смерти. А я-то знаю, кто спас. Гнилой дифтерит ходил, даже из крепких мужиков помирали. Мамаша поехала в Оптину, всякую надежду потеряли. Я уж задыхалась, два дня без чувств. А мамаша странный сон видела, огромный горшок каши. Так и думали — к поминкам. В прошлом году на святках. Наши ходили к Егорычу, он провидит, кому умереть скорее...

— Да?! — испугалась Даринька.

— По глазам как-то видит. Мнительные его боятся, а вдруг скажет: «Поговорить бы надо», — так и знают. Пришел он, я ничего не помню, говорили. Поглядел на меня и махнул рукой. «Становьте самовар, — говорит — чайком угостите, люблю яблочное варенье». А тут доктор Ловцов был. Егорыч ему: «Нечего тебе теперь там делать, садись и ты». Так и поняли, что конец мне. Попил чайку, пошел, а на пороге вдруг: «За нее какой молитвенник!..» Докторишка и сказал ему: «Что, пророк, осекся?» А тот ему: «А вот, годи срок, на тебе уж не осекись». А там, в Оптиной, в эту минуту... — проверили! — кончилась обедня, батюшка отец Амвросий шел из алтаря и говорит мамаше: «Вот тебе и задравная», — дал ей просвирку, и улыбается ласково-ласково: «Чего ж ты плачешь, скачет уж она».

— Провидел?!..

— В самую ту минутку. С постели я вскочила и кричу, голос вернулся! — «Каши дайте!» Такого бешеного аппетита не упомню, целый бы котлище съела. Дали мне каши гречневой, дивятся, как я легко ем... а я все: «Еще, побольше масла коровьего!..» Потом заснула. Ловцов даже растерялся, горло хотел глядеть, а ему не дал папаша меня будить. Я тридцать часов спала! Так докторишка и тут смеется: «Признайте, что хоть обоюдными усилиями!» Все пожимал плечами; «При чем тут каша? кишечник уж не работал...» А я ему и сказала: «С каши-то и заработал».

Они перешли канаву и сели у ржаного поля. Пахло васильками, мятой, — полевым настоем. С земли и с неба веяло на них покоем. В одно слово воскликнули: «Благодать какая!..»

XVI РОМАНТИКА

Слушали тишину. Погромыхивал вдали поезд. Следили, как на бледно-лазурном небе стелется тает дымка, след поезда.

— Ах, не сказала вам самого главного!.. — воскликнула Надя, вспомнив. — Что у нас случилось!.. Не тревожьтесь, не страшное. Но прямо необъяснимое... чудо будто!..

— Чудо?!..

— Непонятно, что такое с ним случилось... с Кузюмовым!.. с тем, с «темным». А вот. В нашей церкви никогда он не был. Нет, был раз, как Олюшеньку отпевали. Когда хоронили его отца, он даже на отпевании не был, в своем приходе, в Рогожине. До паперти только проводил и не вошел. Может, это и не атеизм, а... романтика.

Даринька не знала, что такое «романтика», — спросить стыдилась.

— Ломанье. Знаете, байронизм, «печоринщина», «разочарование»... Когда в Рогожине стал священствовать новый батюшка, молодой и ревностный... это такая теперь редкость, теперь многие стыдятся своего звания духовного, идиоты! — вздумал пастырски воздействовать, приехал на Рождество Христа славить. И вышло ужасное... хамство. Кузюмов... масса была гостей... выслал казачка, и тот батюшке в лицо, при народе, прочел с бумажки «Почные слова барина»: «Вот тебе, поп, твой целковый, гряди с миром!» Батюшка возревновал и крикнул: «Возвратись, пес, на блевотину свою!» Крест ведь Христов оскорбил Кузюмов!..

— Какой ужас!.. — вскрикнула Даринька и перекрестилась.

— А когда ехал из Кузюмовки, нагнал его верховой и хотел... по приказу, понятно, барина... ожечь батюшку нагайкой, спяну-то промахнулся, слетел с коня и башкой об дерево!.. выбило ему глаз сучком!.. Явное знамение!.. Батюшка с причетником привез его в Кузюмовку... Ловцов знает эту историю, тут же и вынул глаз, — и велел сказать барину, в экстазе: «Пусть бережет свои, демонские!» А у Кузюмова глаза правда страшные... И вот сегодня... непостижимое, как чудо!..

— Сегодня?..

— Да, перед самой всеобщей. Прискакал сам «господин Вольтер»! Папаша его так окрестил. Хуже, Вольтер хоть «Высшее Начало» признавал, а этот — полный нигиль! «Нет ничего, чего не видят мои глаза!» Папаша раз на земском съезде посмеялся ему: «Ушей ваших ваши глаза не видят... эрго: нет у вас ушей!» Вот был хохот!.. И вот прискакал к своему «врагу»! В чем дело? Да, не знаете вы... покровские лошади недавно помяли конопляники за оврагом, там кузюмовская земля. На гроши и помяли... мужики, конечно, нарочно, пустили лошадей, землю своей считают. По манифесту она покровским должна бы отойти, а мировой посредник в другом месте им отмежевал... хуже, пустошь. На днях его управляющий приезжал, побоища чуть не вышло...

— Ах да... я видела... кричали... — сказала Даринька. — Хочет засудить?..

— Да ничего подобного, тут-то и чудо! Перед всеобщей собирала я васильки во ржи... слышу — скачет кто-то в хлебах. Смотрю, на чудесном коне, огненное что-то... в офицерском кителе... у нашего дома прыгнул. Я — домой, а мамаша, в ужасе, шепчет: «Он! сам он!..» Да, Кузюмов!.. Вышел к нему папаша... а он вспыльчивый, не снесет, если оскорбление-кощунство... и сан забудет. Мы в щелочку смотрели, за дверь. Элегантный, отлично себя держит, властный такой взгляд... ну, аристократ. Он ведь окончил университет, а потом в Сумском драгунском корнетом был. Убил на дуэли студента, ни за что! Пришлось в отставку подать. Самая настоящая романтика. Слушаю — и глазам не верю... обворожительен! джентльмен! Не красавец, резкие черты, скуластость чуть... татарской он крови... брови так, с изломом... и во взгляде такая сила... связывает как-то. Конечно, я сужу по романам... будто вот такие очень нравятся... не знаю... Говорит!.. — ласкающая такая бархатность в голосе... ну прямо восхищение!..

— Такая перемена... — отозвалась захваченная рассказом Даринька.

— Разительная!.. как... обращение Савла! Подумала еще: завтра как раз память Апостолу, а Кузюмов — Павел! Такой кощунник, и вдруг... что же говорит!.. «Чушь, дурацкие эти конопляники, управляющий болван! скажите дуракам — пусть угомонятся, будет им конопляного масла в кашу!» Стал восторгаться нашей церковью, папаша ушам не верил, как благодать сошла!..

— Смотрите!.. — воскликнула Даринька. — Провидел батюшка отец Амвросий!..

— А вы почему знаете, что батюшка?..

— Матвевна говорила. Я спросила про Оптино, и она сказала, и он сказал про Кузюмова: «Без нас с тобой спасется».

— Да, да... Папаша показывал ему придельчик, и он благоговейно преклонился перед Святителем! Дал пять рублей — «на молебен»! Папаша в волнении не спросил — какому святому... Ангелу, очевидно. И ускакал. И вот в начале всеобщей опять прискакал!..

— Как чудо... — тихо сказала Даринька.

— Явное проявление Промысла! Он без ума был влюблен в нашу Олюшеньку. Стрелялся, когда она вышла за Ютова, едва выжил. Чего он только не вытворял! Боялись за Ютова. Будто стрелял в него... пожар был в Ютове, — видели, как скакал Кузюмов, и выстрел слышали. Когда умер Александр Федорович, Олюшеньке было: тридцать лет, но совсем девочка по виду... Кузюмов в ногах валялся, умолял: «Спасите меня, я не могу... оборву жизнь!» Она поехала в Оптино, и вот тогда батюшка Амвросий и сказал: «И без нас с тобой спасется, придет часок». Она отказала. Он укатил в Москву и убил студента на дуэли из-за одной девушки. Она была очень религиозная, а студент ее высмеял...

— Вот как!.. — изумилась Даринька.

— Ну, «неуемный», это батюшка Амвросий так про него сказал. Вернулся с молоденьким гусаром, кузеном... самого знаменитого полка в Питере, страшный богач и сорванец. Красавец, всем орловским барышням вскружил голову. И что же они выкинули!.. Выкрали одну барышню, очень хорошего семейства. Не одну, а с ее тетушкой, мне бабушка рассказывала. Они романов начитались, про рыцарей, и все у них перепуталось, будто и теперь можно. Сговорились на балу, чтобы умчаться. Подкатили ночью к усадьбе, посадили на тройку, и верховые с бенгальскими огнями... всех переполошили. Мужики говорили — «огненный змей летел!». Привезли в Кузюмовку и начали вытворять. Аничку на трон посадили, осыпали бриллиантами, становились на одно колено... У рыцарей всегда — молиться на «прекрасную даму»! Как у Пушкина, про «бедного рыцаря»!..

Даринька это знала. В Страстном эти стихи белицы переписывали в потаенные тетрадки.

— Пели гимны, воскуряли духи и называли богиней. Как святочное ряженье. Утром прикатил папаша, те извинились и пожертвовали пять тыщ на приют для одиноких девушек. Кончилось хорошо, но Аничка без ума влюбилась в этого гусара. А тот сказал, что недостоин ее любви. А Кузюмов так и остался, как «мрачный демон». И что же... она ушла в монастырь. Как повернулось-то!.. а какая жизнерадостная была, говорят!..

— Ушла в монастырь... — отозвалась неопределенно Даринька. — Такое было в языческие времена, я читала в Минеях про святую Таисию...

— Не помню... А Мария Египетская!.. Это у духовно сильных натур, особенно у нас. Лиза у Тургенева... а у Достоевского, какие натуры!.. Помните, как говорит Апостол Павел о «горячих» и «хладных»?.. Вот это в нас — мы страстно принимаем... жизнь, чувства...

Дарья Ивановна отметила в своей «записке к ближним», что она «пила сладчайшие слова» Нади, и было в этих словах «смушающее и тревожащее».

XVII В ДЫМУ КАДИЛЬНОМ

— И вдруг совсем по-новому показал себя, дивную школу выстроил. О ней писали. На открытии были известные педагоги, Ушинский даже. Олюшеньке прислал почетное приглашение, но она уже болела. После граф Толстой приезжал смотреть, остался недоволен почему-то и сказал Кузюмову: «Не пыль в глаза, а свет в душу надо! на такие деньги три школы можно завести». Кузюмов ловко ему ответил: «Вы, граф, за всех светите в вашей Ясной». Толстой засмеялся, сказал: «Ловко вы... „светите в Ясной“!» Умный Кузюмов.

Дарья Ивановна поминает про этот разговор в «записке»:

«Меня взволновал рассказ Нади, особенно про гусара. Я подумала: это Дмитрий В. И была рада, что он держал себя целомудренно. Видела я ту барышню, много спустя, в Шамординке, в обители, созданной батюшкой отцом Амвросием. Какая чистая, строгая подвижница. Как знаменательно: шутка пременялась в пример высокий волею Господа. Как же не научиться сим? О, тайна промышления Господня!»

— И вот, — продолжала Надя, — вошел он в церковь. Я сразу почувствовала... что-то произошло: зашептались. Гляжу — все смотрят, а лица совсем испуганные. Сначала он стоял у дверей. Вбежала Манюшка с вашими цветами, даже его толкнула, и всех распихивала, как чумовая. Тихо было, Володék Шестопсалмие читал, а она на всю церковь скрипела, будто ее душили: «Да пропущайте скорейча, твиточки барыне!» Конечно, он слышал, смотрел, кому эти дивные цветы. Как он смотрел, когда вы возлагали на налое! Чтобы лучше вас видеть, перешел направо, где «Вход Господень в Иерусалим». Вы опустили на колени. Вы особенно преклоняетесь, как никто, духовно как-то, все любовались... И вот «Хвалите...» Все стали на колени, Пимыч поджег

зажигательную нитку паникадила. Петра и Павла у нас большой праздник, полное многосветие, полиелей. Да солнце еще, хрусталики... А он так и остался стоя, откинулся к стенке: и я вижу с ужасом: в руке у него... нагайка! Чуть не сорвала на выносе, так смутилась. Евангелие... это дивное «Симоне Ионин, любиши ли Мя...». Взглянула, чувствует ли он это? Все так же, у «Входа в Иерусалим», смотрел к вашему окошку. Вы слушали коленапреклоненно, вашего лица не было видно. И так велелепно, в дыму кадильном!.. Потом понесли в придельчик лилии. Вы показались мне... светлым ангелом! Эти рукавички с «плечиками» — крылышки! Как же он смотрел!.. А я думала: «Смотри, это не твоя тьма!» Смотрел, как давали вам дорогу, любовались... Темное его лицо напряглось, перекопилось как-то... и я вдруг подумала, как осенило меня: «Он весь захвачен...» Боже мой, вы так напомнили мне Олюшеньку!.. Простите меня, но я не могу утаить от вас... мысль вдруг: может быть, и ему напомнили?..

Даринька смутилась, растерялась. Едва промолвила:

— Что вы, что вы... откуда это у вас... не знаю, что общего...

— Ну, простите меня, я иногда так сболтну... Но, право, мелькнуло так. Вы вошли в придельчик, и он ушел. Почему вы грустны?..

— Нет... — растерянно вымолвила Даринька, — устала я.

— Да... забыла вам сказать. Когда хоронили Олюшеньку, он провожал до могилки, подошел к Костеньке и молча пожал руку. Все-таки он несчастный...

Даринька не ответила, покусывая травинку.

— Звал Костеньку к себе. У него огромная библиотека, вся философия имеется. Костенька как-то ездил за книгами. Когда узнали, что усадьба продается, он давал «сколько хотите». Мальчишки хотели продать с выбором, многим отказали, и ему. Ваш муж был в мае, понравился им... совсем непрактичный, говорили. И папа их такой был. И Олюшенька наша. Их растрогало, когда ваш муж сказал: «Моя жена очень любит цветы, и так тихо тут, а ей это необходимо, она очень была больна». Вы были сильно больны?..

— Да, раньше. Хотелось тишины, уюта... потому и зовем Уютово.

— А было Ютово! Как удивительно!.. И продали вам. Мама тоже очень любила тишину. Так им было легче расставаться. Кузюмов через других пробовал, но Матвевна как-то узнавала. Боялась: «Ну-ка темный гнездышко схватит наше!» И вот Господь послал нам вас. Олюшенькина душа теперь спокойна.

Даринька пошла в Уютово, стараясь удержать мир в душе, гоня тревожащие мысли, не сознавая их. Что-то неопределимо смутное осталось от рассказов Нади, и это смутное мешалось со светом тихим от лучезарной всеночной.

На «Фаворе» она остановилась, полюбовалась на розовую от заката церковь. Повернулась к Уютово и увидала над ним, на закатном небе, розовых голубей, кружившихся в блеске над усадьбой. Сказала, радуясь:

— И белые голубки у нас... как все чудесно!..

Пошла, в мире, и в сердце ее пело- Аллилуйа.

XVIII ЖИЗНЬ ЖИТЕЛЬСТВУЕТ

Виктор Алексеевич благостно вспоминал о первой поре в Уютове, безмятежно-светлой.

Он радовался, что смущавшие Дариньку «знамения», мешавшие вполне отдаться жизни, кончились. Она стала живей, свободней, земней. Это делало ее доступней. Настала жизнь, то, что называется — «жизнь жительство», где-то удачно сказано, помнилось. Эта «живая жизнь» открывалась ему в Уютове впервые, в хозяйственных даже мелочах. Он охотно выслушивал советы Матвевны прикупить смежную рощу, которую можно почистить, будет дров года на три, и усадебка округлится; говорил с Карпом о лошадях, о починке экипажей, о поросятах. И было ему приятно, что Даринька участвовала в этих разговорах, понимала все лучше его, и Матвевна с Карпом соглашались с ней. Виктор Алексеевич переживал хозяйственный захват, ему как бы открылось, — прочел недавно «Анну Каренину», перевоплощался в Левина, — что труд «на земле», жизнь «от земли» — самая здоровая и чистая, самая даже красивая. Как хорошо, что купили Уютово! Он высказывал свое Дариньке. Она говорила:

— Будет еще лучше, ты увидишь.

Что же могло быть «еще лучше»? Время шло, и он чувствовал, что теперь было «еще лучше». В Москве ему казалось, что в захолустье никакой жизни нет, все изо дня в день, ни интересных лекций, ни концертов, ни обедов в «Эрмитаже» с Даринькой: он хотел привить ей вкус к жизни и развлечениям и сам увлекся. А теперь, в захолустье, открывались радости, на рассеянный взгляд едва приметные, но, если вдуматься, полные глубокого смысла, — радости бытия. Ему приоткрывалась не уловимая тугим ухом симфония великого оркестра — Жизни. Он спрашивал себя, почему же раньше ее не слышал, почему бывало скучно, почему ему слышался только шум?..

Эта симфония открылась ему с первых же дней в Уютове. Он услышал, как одухотворенно поет соловей, «высказывает себя». Почувствовал, как каждый цветок дышит своим дыханьем, единственным, не сравнимым ни с чем другим: жасмин, лилия, резеда, петунии... как высвистывает зяблик, поет малиновка, выигрывают витютни свое урррр-урррр... как деловито гудят и реют пчелы в малиннике, кудахчут с заливом куры, квохчут с цыплятами нэседки, звенят жаворонки в лазури, кричат петухи вот так, а ночью совсем иначе, «как бы вещь что-то», и почему-то в урочный час... — и все эти песни, дыханья, крики связаны чем-то общим, что-то творят единое... — чудный какой-то гимн. Ему думалось, что все точно и мудро поставлено на место, назначено для чего-то, подчинено закону, до самого неприметного, до толкунчиков в солнечном луче, — «к теплу», по словам Матвевны, — и во всем знак и мысль, и эти знаки и мысли, понятные Матвевне, Егорычу, Карпу, Анюте даже... — ему, инженеру-астроному, пока еще непонятны, но... «непременно надо заняться этим, тут что-то есть». Это «что-то есть» как-то соприкасалось с еще таинственным для него внутренним миром Дариньки.

Он был склонен к глубокомыслию. Но прежние размышления были совсем иные, «голые упражнения рассудка», без ядрышка, без плоти. А тут, в Уютове... — что за диво? — самое как будто неприметное вызывало живые размышления, закладывало в нем какую-то важную постройку.

В такой умягченности душевной, в радости от новой Дариньки, расцветавшей жизнью от этой жизни по-новому, он забыл деловые планы, перестал кабинетничать, отдыхал. Взял двухмесячный отпуск, в депо не ездил, — купался в уютовском приволье.

В Петров день охотно пошел с Даринькой к обеду. Церковь ему понравилась, а праздничные бабы, глазевшие на него, напоминали детство, лето в имении отца. С улыбкой слушал, как шептались, оценивали его: «И супруг красивый какой, звезда селебрена... инерал». Понравилось и пение, и батюшка. «Артистически возглашает...» — шепнул он Дариньке, но она укорительно повела глазами. Глазами она просила, когда надо преклониться, и он слушался и любовался, как она вдохновенно преклонялась. До конца дней помнилась ему эта обедня вместе, как возглашал в алтаре священник: «Твоя от Твоих...», как пели: «Тебе поем, Тебе благословим...» Он почувствовал особенное благоговение... — и от песнопения, и от милой головки, чутко склонившейся, от локончика, игравшего в дуновении полевого ветерка...

Осталось и другое, маленькое совсем, но сколь чудесное!.. Слушая пение, он посмотрел за окно — и увидел поразительное.

Окно было открыто. За ним было только чистое голубое небо. С коленей не было видно земной дали — только небо. И на этом небе, на его пологие лазурном, тихо покачивалась ветка. То была ветка розового шиповника: только ветка с розовыми цветами виделась из-за оконницы, будто висела в воздухе. И на этой ветке покачивалась птичка с розовым горлышком. Она тихо покачивалась — только что вот-вот села. Покачивалась... и, вытягивая шейку, заглядывала в окно, — заглядывала как будто с любопытством: «А что тут делают?..» Он не удержался и шепнул Дариньке: «Взгляни скорей... птичка...» Она взглянула, невольно, чуть с досадой, что отвлекает в великий миг, и увидела птичку, малиновку: малиновка заглядывала в церковь, вытянув шейку, присела и порхнула, и все качалась пустая ветка. Взглянула на Виктора Алексеевича светло, будто благодарила взглядом. После сказала: «И малиновка радовалась с нами... всё поет Господа».

Этот случай с малиновкой привел его в восторг и утвердил светлое настроение. После обедни, приняв почетную просфору, он прошел с Даринькой в придельчик, смотрел образ и признал, что выражено удивительно, как бы свет во тьме. Смотрел «родословное древо» в рамке, а Даринька светила свечкой.

В благостном настроении они пошли к настоятелю. Вспомнилось, как после экзаменов приезжали семьей в имение и в первое воскресенье, после обедни, ходили к бабюшке, пили парадный чай и ели горячий пирог с зеленым луком и яйцами. Виктор Алексеевич пошутил: «А пирог с зеленым луком и яйцами будет? очень его люблю».

Было радушно, чай пили на террасе и ели горячий пирог с луком и яйцами. Виктор Алексеевич рассказал случай с птичкой и очаровал благодушием и простотой. Провожали всей семьей «до овсов», любовались Уютовым и расстались, очень довольные. И кругом все было благостное и ласковое.

Проходя парившим малинником, полюбовались обилием малинным. Укрытая в низинке, малина вызревала раньше. Немолчный пчелиный гуд стоял здесь, пахло малиновыми духами. Карп, праздничный, бывший у обедни, любовался на благодать, — «Уж и малина!..». От кухни тянуло пирогами. Листратыч, в белом параде, орудовал с кастрюлями. Даринька справилась, что сегодня к обеду, — малина со сливками?

— Бу-дет, бу-дет, все будет! — выкрикнул Листратыч бауточку. — Спаржа, сос-пританью, курячий бульон-шпинат, слоеные пирожки... паровые цыплята в молодом картофельце, сос-укроп-с... малина в сливках... сладкие подремушки на сахарной подушке!..

За праздничным чаем восхищались кружившеюся живой клубникой: на столе кружилась тумбочка, осыпанная клубникой и земляникой, смотревшими из дырок, — как перед Пасхой на окнах магазинов вертушка с пасхальными яичками. Вызвали Мухомора, и Виктор Алексеевич подарил ему три рубля — «на книги». Дормидонт сказал обычное: «Все это пустяки», — и галантно раскланялся. Даринька сказала: сегодня праздник, а он все в том же ужасном балахоне.

— Зачем вы так... боитесь каких-то мух!

Дормидонт растерялся, оправдывался, что эта нечисть всех может погубить... и рад бы, и «тройка» есть триковая, московская, да...

— Но все это прошло! — сказала Даринька, — я за вас молилась, и теперь никакие мухи не могут повредить вам!..

Дормидонт выкинул руки и воскликнул:

— Молились?!.. Ежели вы моли-лись... я спокоен! У меня все ваши слова записаны!..

К обеду все дивились: Мухомор в московскую «тройку» обрядился! Виктор Алексеевич высказал Дариньке, как она психологически чутко сумела подойти к этому казусу: явная мания — мухи эти.

— Не знаю, что такое мания, но я действительно за него молилась. Мне кажется, не мухи у него это, а... его пугает грязь, греховное, и он мучается этим. У него удивительно чистая душа, как у ребенка. Его испортили какие-то «петровцы»... неверы, да?

— Да, студенты. Но это довольно сложно...

— Не сложно, а... безумцы! — сказала она с сердцем. — Такие же, как и ты?..

— Ты высказала любопытную мысль... олицетворение грязи в мухах. Мне понятно это, ты, кажется, права.

— Теперь понятно... — сказала она с укором, — ты все знаешь, а не думаешь о «грязных мухах».

— Нет, я думаю... — задумчиво сказал он.

Увидали в комнатах опять повешенные семейные портреты: утром Алеша поместил их на старые места. Он тут же и появился.

— Вот лучший портрет мамы. К... писал ее в шестьдесят первом году, ей было двадцать пять лет. Только она тут не вся.

На бирюзовом небе, в раме окна, будто у балкона, стояла, в пояс, светлая, юная совсем, с тонким, прелестно округленным лицом, в три четверти, — всматривалась, чуть вверх. Она была в легком, открытом пенюаре, в уложенных на голове косах, как причесывались тогда. Лицо нежное, с чуть приоткрывшейся нижней губкой, как у детей, в удивлении. Глаза — ласково-изумленные, большие, голубоватые, «мерцающие, — подумал Виктор Алексеевич, — озаряющие...». Он вспомнил эти глаза: там, в Страстном. Эти радостно-изумленные глаза смотрели в небо, отражали его в себе.

— До чего же... удивительно!.. — воскликнул Виктор Алексеевич.

Он другое хотел сказать. Вечером он сказал ей. Она не находила этого: бывает сходство. Вспомнила, что говорил Пимыч, Надя...

Смотря на портрет, Даринька «вся была как бы вознесена», вспоминал Виктор Алексеевич, — не слыхала, что ее спрашивал Алеша, нравится ли мамино лицо. Он вглядывался в Дариньку, переводил взгляд к портрету... и в этом взгляде было изумление.

— И вдруг, — рассказывал Виктор Алексеевич, — у Дариньки чуть приоткрылась, чуть сникла губка... совсем, как на портрете. Бывает так у детей. Она смотрела, как та, в небо. Это уловил Алеша, чуть отступил, и в лице его был испуг.

Виктор Алексеевич думал, какое поражающее сходство. Даринька сказала едва слышно: «Какая чудесная, чистая...»

— Это какой-то миг в ней... — сказал Алеша. — Мамино лицо так живо, так многообразно. Говорила всегда, что ее умягчили тут, одевичили... даже восвятили. К... удалось, такой она бывала даже позже, когда я уже научился видеть.

В тот же день Виктор Алексеевич написал знакомому знатоку российских родов, прося сообщить, что может узнать о роде..., особенно о бароне Федоре Константиновиче, который, по слухам, застрелился. Написал и адвокату: не жалеть расходов, разыскать и опросить лиц, служивших у барона, особенно — кто из молодых женщин жил у него в такие-то годы. Дал ему все, что было у

него в дневнике, с неясных рассказов Дариньки.

ХІХ ПОДНЯТИЕ ИКОН

Узнав от Матвевны, что покровские придут поздравить с новосельем и принесут хлеб-соль, Даринька распорядилась.

Перед верандой устроили помост и накрыли чистыми простынями. Дормидонту Даринька сказала, чтобы побольше цветов, будет Высокое Посещение, молебен о благоденствии всех здесь живущих и всего, до последней травки. Дормидонт записал в тетрадку. Послала в город закупить угощение для народа. Узнав, что баб дарили платками, а мужиков ситцем на рубахи, нашла, что мало это, — бабам надо дать по полтине, а мужикам по рублю. Купили сластей, подсолнухов, пива-меду и хлебного вина — всего вдосталь. Все весело суетились, словно к Светлому дню готовились.

Воскресенье выдалось, как Петров день, — ни облачка. Все ушли в церковь. Счел долгом присутствовать и Виктор Алексеевич. Даринька не просила, чтобы и он присутствовал, — знала.

— Она так меня изучила, угадывала мои мысли даже! — говорил он. — В это воскресенье, оставшееся во мне, до вдохновенного блеска в ее глазах, до белого платья с приколотыми васильками, она была как бы вознесена над всем. Когда стали выносить иконы, она шепнула: «Ты примешь Крестителя Господня», — и так взглянула, словно мне в душу заглянула, прося и — веля. Я растерялся. Никогда не носил икон, а тут, во всем этом благолепии, на всем народе... Она видела мое смущение, улыбнулась, как бы жалея меня, и повторила: «Да, да... я уже сказала батюшке». И я принял.

Дариньке пожелалось, чтобы подняли и Святителя, и она удивилась, что нет иконы Святителя, а написано на камне в заломчике и одето рамой, как кивотом. «Пожелала так зиждательница, — не тревожить Святителя, а всегда чтобы был над нею», — сказал Пимыч.

Несли иконы крестным ходом, со всенародным пением «Царю небесный», в ликующем трезвоне. Впереди нес на древке фонарик с крестиком батюшкин Сережа, весь в фонарике, в высоте небесной. Четыре за ним хоругвицы, повитые цветами, убранные лентами и солнцем, запрокинув головы, благоговейно-строго, несли Листратыч с Егорычем, Агафья, Поля. Так водится: куда поднимают, с того места и трудники. Благообразный Карп и кучер Андрей приняли тяжелую икону Спаса. Престольную — Покрова понесла Даринька с Танюшей. Николая-Угодника, старинную, несли на расшитых ручниках Алеша с внуком Пимыча. Икона

Покрова была в лилиях, с подзором-пронизью, в жемчугах. Шла она в середине хода, и все на нее взирали: прекрасна была она, сияющая солнцем и самоцветами, и обе трудницы, принявшие на себя ее, блиставшие чистотой и юные, привлекали к себе глаза. Виктору Алексеевичу отец Никифор вручил небольшой образ «Рождества Крестителя Господня», сказав: «Потрудитесь и вы с народом, жить-то с народом будете». В этих словах Виктор Алексеевич почувствовал назидание. Принимая образ, он с непривычки смущался, но скоро обошелся, и ему чувствовалось, как хорошо идти с народом и петь.

— Я не ожидал, что этот крестный ход оставит во мне глубокий след, — вспоминал он, — явится сдвигом в моей духовно косной жизни, вызовет чувства и мысли глубокого содержания. Это были мгновения мыслей-ощущений. Несу образ, не чувствуя даже, что несу, и от этой поющей толпы, от лиц, обращенных к небу, от сверканья позлащений, от глаз, от умиления-радости носителей иконного благолепия... передавалось мне чувство связанности моей с толпой, с захватом высоким делом, которое она свершает, с полями хлеба, с перезвоном от Покрова, с голубизною неба. Это были миги мысли, как бы ожоги мыслью... от чего пробегало дрожью, намекающим во мне новым чем-то: «Вот это его правда, народная, его устремление к Абсолютному, укрытие под недосыгаемый покров от тяжелой жизни», — и: «Хорошо, что я с ним... он так же в эти минуты стремится ввысь, как я стремился, отыскивая „Начало“ и „Абсолютное“... но я готов был убить

себя от сознания тщетности познать все, а народ, плечо к плечу, сердце к сердцу, в чудесном подъеме духа, не сознавая — знает... нет, проникнут „Началом“ этим и этим „Абсолютным“...»

Так опаляемый, в искрах мыслей, от единения с народом, сплотившимся радостью потрудиться для благолепия, «для души», Виктор Алексеевич не слышал, как ступают ноги, и этот ход с народной святыей показался ему мгновеньем. Но за это мгновенье он все замечал и слышал. Помнил, как на повороте в Уютово, когда показались столбы въездной аллеи, золотилась-сияла белыми лилиями икона Покрова, как светилось Даринькино лицо, выбились локоны из-под лазоревой повязки, пылала ее щека... Помнил, как Карп ласково покивал ему, и сияла его благообразная костромская борода. Приметил Анюту даже, в канареечном платице, как радостно-пугливо несла она священное для нее, — кропило, сунутое ей в руки Пимычем на ее слезное моление — «чутьочку понести чего божественного». Несла она это чудесное для нее кропило вдохновенно, держа обеими руками перед собой, как свечу, и ее неприметное лицо с носом-пуговкой показалось Виктору Алексеевичу прелестным. От этой, такой раньше незаметной Анюты его осветило мыслью: «Все мы — одно перед Непостижимым, маленькие и незаметные... и все в какой-то миг поможем измениться и стать прекрасными в устремленье к тому, что так ищем и вдруг откроем!»... «Все мы единым связаны, одному и тому же обречены, как перст...» Мысль не закончилась, вспыхнула другая: «Откуда такая красота в лицах, в ликах? откуда такое вдохновенье персти? скрепляющая общность, устремленность к небу? откуда все, до скудоумной Поли, теперь — вдохновенно-взыскующий „тростник“?» — переиначилось в нем паскалевское «мыслящий тростник». И всплыло, связалось с принятым образом Предтечи давно, казалось, забытое, заученное в училище, слышанное в детстве, читанное во дни Страстной: «Что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли ветром колеблемую?... Что же смотреть ходили вы? пророка? Да, говорю вам, и больше пророка...» Вспомнив эти слова, он почувствовал в руках образ, а то не чувствовал. Вызвал воображением пустыню и... — «Эти, все, знают и чтут его, и Даринька уповаet... тысячелетия протекли, а вот, все живет, влечет...»

Тут оборвалась его мысль: он увидел суровый лик Матвевны. Она — ход поворачивал в аллею, и видно было голову шествия — несла запрестольный крест, повитый зеленью с гроздьями рябины, горевшими на солнце. Она шла сильным, мужичьим шагом, высокая, прямая, поднявши крест. Этот суровый лик, решительная поступь и высокое держанье большого, тяжелого креста изумили его и тронули: в этом почувствовалось ему значительное и строгое. «Что я вижу!.. — спросило в нем. — Как это глубоко и как чудесно!.., и она это чувствует, и потому лицо ее сурово и крепок шаг... удивительный наш народ». Когда так думал, почувствовал горячо в груди и в глазах. И услышал: «...сокровище благих и жизни подателю... приди и вселися в ны... и очисти ны от всякий скве-э-рны-ы» — и напевно слился со всем народом. Пели различно, простонародно, сильно, отсекая и вынося, где велит душа, и выходило мощно, словно пела сама земля. Слышал бодрящий шепот: «Сам анженер несет...» Это всем прибавляло духу. Об этом крестном ходе говорили после по деревьям.

Было полное благолепие. Пришло народу... — пришлось переставить помост на луговину перед домом. Над помостом высилась сень, «воздушная беседка», сквозная, повитая хвоей и цветами, — так Дормидонт надумал.

Вносили иконы в дом, окропляли святой водой. Носили и по службам, и по хлевам. Даринька попросила пронести по яблонному саду. Кропили тихие яблони, сникавшие от плодов. И тут отец Никифор читал молитву — «...от всякаго вреда соблюди невредимы, благословляя тех зде жилище...». Дормидонт слушал умиленно: было его здесь шалаш-жилище.

Угощали завтраком и чаем причт. На луговине, после поднесения хлеба-соли на ручнике, в коклюшечных кружевах искусных, угощали народ, и не с одного Покрова пришедший, Хозяева выходили, их благодарили за угощение и ласку, желали жить в благополучии. Растроганная Даринька сказала:

— Спасибо вам, милые... какая нужда будет — скажите мне... поможем...

Заговорили гулом-благодарением. Вышел речистый, по прозвищу Голова, и сказал за всех:

— Слово ваше золотое. И наше вам будет в полновес. Не будет отказу нашего во всякой помочи. Помолились, нагостились... припечатали.

С обедом запоздали. До ночи стоял в Уютове светлый дух, праздничное во всем светилося. Сказала Матвеева Дариньке:

— Так все хорошо было, барыня, сказать нельзя. Пондравилнсь вы покровскнм нашим.

Похвалила — дополнила чашу радости.

XX ИСПЫТАНИЕ

— С этого торжества, — вспоминал Виктор Алексеевич, — я как-то освежился, и мне казалось, что случится что-то очень приятное. Неприятности позаглохли, я старался о них не думать. Разумею семейные неприятности. Казалось, и Даринька о них забыла. О разводе с женой не говорили больше. Я набавлял отступного, адвокат писал ей, — ответа не было. После назначенного отцом Варнавой послушания — «вези возок» — Даринька как будто примирилась с положением. Я боялся какого-нибудь подвоха, — могли мстить нам скандалом, — и принял меры. Жизнь устраивалась. Даринька отдалась хозяйству и задушевному деланию. Я был счастлив, и мне почему-то казалось, что будет еще лучше. А что «еще лучше» — не представлял: что-то... «самое главное». После уже понял, что в жизни «самое главное».

Вскоре случилась маленькая неприятность, вместо ожидавшегося «еще лучше».

7 июля, под Казанскую, Даринька собиралась идти ко всенощной. Сидела за чаем на веранде, Алеши не было. Пришла Матвеева и сказала, что становой приехал, «нелегкая принесла». Виктора Алексеевича кольнуло.

Плотный, кургузый становой вытирал пот с лица, чайку с лимончиком принял, но от водочки отказался: «Жарынь-с... да и по долгу службы уж пришлось маленько освежиться, три дня мертвое тело прело, порезали на покосе парня, махонькая драка вышла... хватили с доктором, отшибить дух». Извинился за беспокойство, да мимоездом кстати уж поприветствовать, и справочки насчет новоприбывших: «Время нонче, сами знаете, тьма-с... строгие предписания от губернатора, все чтобы были на виду». Виктор Алексеевич показал, «а кто с нами прибыл, — в конторе». Внося в ведомость, становой спросил: «И при вас супруга... Дария Ивановна... Венде... грамер?» Виктор Алексеевич поправил и объяснил: «Жене я отдельно... к доктору в Москву придется ездить, закупки...»- и смутился, поймав взгляд Дариньки. «И хорошо-с, — сказал становой, допивая чай и вытираясь, — злющее время, опять в Мухине поджог, в окружности пока, слава Богу, тихо, все на виду... а в Зазушье опять листки подметные... — внушительно подмигнул он. — Стриженую одну видали в Казакове, завтра чем свет туды... ф-фу-у... да она, шельма, в Бобыри, поди, перестегнула, завтра там ярмонка... мечусь, как волк на гону... да еще господин исправник требуют: „Ты, Бабушкин, хочь одну мне стрыженую пымай, приставлю!“ Да рази их устегнешь... до чего чутки, черти!» — «Да, да... понимаю, понимаю...» — поддакивал Виктор Алексеевич. Получив положенное, становой укатил на дрожках.

Даринька ни слова не промолвила. Чувствуя неловкость, Виктор Алексеевич стал объяснять:

— Ну, да... так надо. Все по форме, чтобы не было лишних разговоров. Не ради себя, а чтобы тебя не ставить в ложное положение...

Она взглянула, и он увидел в ее взгляде укор и жалость.

— Ты так всегда болезненно... я знаю, как тебя это мучает.

— Надо терпеть.

— Теперь для всех ты — моя жена. Для меня с первого дня жена... законнейшая, больше!..

— А перед Богом?..

— Бог... все видит. Ему не надо документов!

— Что ты говоришь?!.. опомнись, Виктор!.. — воскликнула она. — Ты не признаешь таинства?!..

— А-а... — вырвалось раздраженно у него, — не знаю, что признаю, что не признаю... смута во мне! неужели ты не понимаешь?!.. Юридически — признаю, надо для социального порядка, а... Но ты же каялась!.. ты отпущена! Тот старец, Варнава, признал наш... пусть и не... неоформленный брак!..

Она покачала головой: нет.

— Да, признал! Какие у него были соображения, это его дело, его совести... я тебе не раз говорил, вполне искренно, что меня это удивило. Высокой, говорят, жизни и... при-знал!.. даже не гражданский, как обычно в Европе, а внебрачное сожителство. Даже благословил!..

— Не благословлял!.. — вскрикнула Даринька. — Не знаешь ты его страданий за мой грех! не знаешь, почему так... не можешь знать!..

— А ты знаешь?!

— Не знаю... но так надо... почему-то надо. Это после откроется, почему так!.. — страстно воскликнула она. — Я верую, что он знает сердцем!.. он провидит...

— Про-ви-дит!.. что?!..

— Господь знает. Может быть... больше было бы зла, греха... страданий, если бы...

— Ну, раз тут мистика... я отказываюсь спорить... мистики я не понимаю, не принимаю...

— Ты привык принимать только то, что тебе приятно... Я не могу, я беспокойна... Темные, мы ничего не знаем... Оставь.

— Ты не выслушала, дорогая... успокойся, прошу тебя. Он благословил не эту нашу... незаконность... он не мог этого, конечно... он благословил тебя нести этот грех, «везти возок». Ты приняла, и я с душевной болью принимаю, хотя и не постигаю решения. Пусть на меня падет грех!.. Значит, я еще мал духовно... Но кто виноват в этой проклятой лжи?!.. Она!.. Она нарушила... совесть моя чиста!..

Даринька хотела сказать что-то — и не сказала, скрыла лицо в ладони. Виктор Алексеевич чувствовал, что хотела она сказать... Он сознавал, что совесть его вовсе не чиста, что он перед ней страшно виноват... не только насилием над нею, пусть в безумии, но и после, когда страстно любил ее, и она металась над пропастью, и только что-то... — чудо?.. — спасло ее. Все страшное и болезненное, что казалось почти зажившим, вырвалось вдруг наружу и крикнуло в нем: «Я с вами и буду мучить!..» Он воскликнул с болью:

— Есть же, наконец, правда?!.. Я признаю: я грязен, я виноват, я... да, грешник, страшный и окаянный грешник!.. — В этом слове звучало для него что-то бездонное, «провальное», связанное с жуткой и темной силой, «как бы бесовское», признавался он, — Но ты!.. чистая вся, святая?!..

Она подняла руки в ужасе.

— Не смей говорить так!.. — вскрикнула она, побледнев. — Молю тебя, не смей!.. Мой грех я не искупила... я должна искупить его и за тебя, пойми же! если ты не найдешь в себе силы искупить, воли... веры... сознать и принять твою долю в этом... я должна все принять!.. И я приняла, и понесу... за нас. Люблю тебя, виню и себя... и — приму. Старец Варнава... при тебе!. ты помнишь?.., при тебе возложил на меня — «везти...» и так ласково на тебя смотрел!.. И ты... не понял?..

— Что не понял?.. — недоуменно-искренно спросил он.

— Что он без слов, жалея, внушал тебе...

— Что внушал?!.. — улавливая что-то в ее словах, воскликнул он.

— Как — что?!.. Но ты же так много знаешь, так много думаешь... как же ты не?.. сознать грех и...

Она перекрестилась: благовестили ко всеобщей.

Когда, уже по заходе солнца, вернулась из церкви Даринька, Виктор Алексеевич все так же сидел у неубранного стола. От цветников лился земляной дух поливки, петуний, никотианы, резеды... — напоминал июльский вечер, цветники Страстного.

Тихая, умиротворенная, Даринька подошла к креслу, где он сидел, подперев рукой голову, опустила у его ног, дала на ладони, теплый от теплоты ее, пахнущий «цветом яблони» кусочек благословенного хлеба и сказала покойно:

— Скушай и успокойся.

Он принял благословенный хлеб, притянул к себе темную ее головку, прижался губами к ней, слыша, как пахнет от нее теплом ржаного поля, и она почувствовала томящим сердцем, как все его тело дрожит от сдержанных рыданий.

XXI ПРОЯВЛЕНИЕ

Приезд станového запомнился Виктору Алексеевичу: и душный вечер, и фельдфебельское лицо, и луково-потный дух, и клетчатый, в сырости, платок. Но особенно- сосущее, тревожное ощущение, связанное со станovým и болезненным объяснением с Даринькой, С этого вечера, под Казанскую, стало в налаживавшуюся жизнь их вкрадываться новое, тревожное.

В день Казанской пришла депеша из Иркутска: сообщалось, что условия приняты и сорок тысяч сдано в депозит, квитанция выслана страховым. Это окрылило, и Виктор Алексеевич решил прокатить Дариньку в Москву, закупить для новоселья, путейцы будут.

Но тревожное не пропало, хотя после «благополучной прописки» нечем было тревожиться: «Все оформлено». Перед отъездом из Москвы он побывал у знакомого полицеймейстера, который раз уже помог ему «в этих обстоятельствах», и в пять минут полицеймейстер выдал ему нужный Дариньке документ, за номером и печатью, с напутствием: «Свято и нерушимо, живите и... наполняйте». Томившая Виктора Алексеевича петля свалилась вмиг. И как удачно: на другой день знакомец-полицеймейстер уезжал в армию.

В Уютово примчалась украшенная цветами тройка с Арефой, высланная путейцами, чествовавшими новоприбывших друзей обедом «у Касьяныча на Зуше», в наречном ресторане на сваях, гремевшем славой по трем губерниям. Ресторан славился и живописным видом, и «шереметьевским» поваром. Дня за три до чествования весь городок говорил о «Касьяныче»,

когда-то татарине-официанте, державшем буфет в большом вокзале, ныне — «при капиталах». Говорили, что будет неслыханный пир, «все на экстренных паровозах мчится, со всей России»: зернистая-парная прямо с Дону, московские горячие калачи от самого Филиппова.

Только выкатили из аллеи к ржаному полю, Арефа попридержал своих серых в яблоках и сказал несколько таинственно-радостно:

— А нам, ден пять тому, проявление Господь послал!..

— Как?!.. проявление?!.. — воскликнула Даринька, а Виктор Алексеевич перебил ее, не поняв: «Что такое-проявление?..»

— Ты не знаешь?!.. — возбужденно сказала Даринька. — Что-то чудесное случилось!.. Что Господь послал?..

— Настенька наша в разум пришла! Только и говорят про это...

— Пришла в разум?!.. — воскликнула Даринька и перекрестилась. — Ну, говори... пришла в разум?!..

— В полный разум. Меня доспрашивают, как все было... значит, про цветочки ваши, барыня, дали-то ей... велели Пречистой молиться, отнести. Она и понесла, сам видал. И протчие, которые в церкви молились. Значит, видали. Крестителю цветы вы положили и Пречистой свечку поставили-молились... а Настенька тоже прибежала, цветочки Пречистой становила, белые... и на коленки припала. Сразу и поняли, — молились вы за нее.

— И выздоровела?!.. в разуме стала?..

— Вполне. Папаша да и мачеха плачут с радости. Позвали доктора: велел вымыть ее, сама просить стала, оболкли во все чистое, не узнать. Кто видал — краше прежнего стала, говорят, как святая мученица-дева! И ничего не помнит, как по городу бегала, в сторожках зимой обогревалась. И все говорит: «Меня Креститель Крестом крестил».

— Креститель?..

— И Пречистую поминает, все «Богородице, дево, радуйся» читает, умная совсем. Вчерась ее у Разгонихи видали, платочек с папашей ходили покупать, в Оптину пешком собирается, Хотела ровный, без каемочки, а без каемочки не было, она и говорит, разумно: «Голубенькое за дорогу выгорит, будет платочек ровный, как у белицы».

— Так и сказала, сама сказала?!..

— Слово в слово. И как прежняя: тихая, кроткая, ласковая... в папашу своего. Доктор говорил: «Это бывает, очуховаются... да, может, она под юроду напушала!» Известно, доктора Бога не признают.

Даринька слушала в сильном волнении и все крестилась. А вот и городок. Из лавок глядят на разубранную тройку, снимают картузы.

— Какое уважение вам, барыня... все вчувствуют, — сказал Арефа, — за пример будут почитать. Народу-то у трактира... ярмонка, а всего только понедельник нонче!..

Даринька сидела бледная. Виктор Алексеевич помнил ее взгляд — «будто она не смотрит, а... где-то, в своем, таинственном».

XXII ПОКЛОН

Когда сходили с коляски; толпа раздалась, освобождая проход к крыльцу, обтянутому полосатым полотнищем. На крыльце встретил глубоким поклоном в пояс сам Касьяныч, при белом фартуке, круглоголовый, в малиновой тубетейке. Виктор Алексеевич слышал голоса в толпе: «Самая она, та барыня... ютовская новая...» Парадные путейцы, свои и с боковой колеи, приняли под руки, повели, в шуме возгласов. Даринька приняла букет еще не виданных ею душистых цветов. «Магнолии, только что из Ялты!» — сказал кто-то. Подал магнолии старейшина, Караваев. Не нашлась ответить на сказанное приветствие, кивнула и спрятала в сладко пахнувшие цветы разгоревшееся теперь лицо. Посторонних никого не было: на весь вечер Касьяныч был оставлен за путейцами, и у полосатого входа стал на стражу вызванный по наряду рослый жандарм со станции.

Даринька как будто выпила шампанского: глаза блестели, лицо бледнело и снова разгоралось. Виктор Алексеевич тревожился за нее, но она скоро обошлась, стала общительной. Рядом с ней посадили пожилого инженера, спокойного и приятного, и он стал занимать ее рассказом о Сибири, так чутко и ласково, будто рассказывал девочке занимательную сказку.

Сервировано было великолепно, богато и обильно, радовало глаза. «Фруктовый» стол поражал роскошью Крыма, Кавказа, Туркестана, — «дышали тончайшими ароматами дыни и персики, — красота! — вспоминал Виктор Алексеевич. — Алели в изморози небывало ранние арбузы». Вина... — но об этом надо писать поэму...

Виктор Алексеевич помнил, что подавались раки-исполины, «кубанские». Хорошо помнил: случилась одна история.

Только стали закусывать, совсем молодой путеец, с розовыми щеками, смущавшийся перед Даринькой, вошел в раж после второй рюмки: объявил громогласно, что самая пикантная закуска... — и привлек общее внимание. Налив «по третьей», открыл секрет: «Живым раком! но... каким?... рукоплещущим такой чести!» Это всех захватило. Сам, значительно погрозив, кинулся в кухню и, сопровождаемый Касьянычем, выдавшим виды, но с таким номером еще не знакомым, принес на блюде огромнейшего рака... — «совсем омар!» — недавно отлинявшего, в совсем еще нежном панцире. «Надобно бы, собственно, совсем мягким, но я и с этим справлюсь!» — заявил дерзатель.

Все окружили путейца, выжидая. Виктор Алексеевич помнил, какими «пытливыми» глазами смотрела Даринька. Прежде чем приступить к закуске, шутник предварил, что сей исполин «очень польщен вниманием такого избранного общества, в восторге от такой чести и сейчас примется аплодировать, — айн, цвай, драй!..» — вилкой перекувыркнул рака на спину, и в самом деле, — исполин бешено защелкал по блюду шейкой, и до того похоже, что все зарукоплескали. И тут случилось, — вспоминали после — «самое лучшее изо всего меню»: услышали радостный возглас, — Виктор Алексеевич не понял сразу, что это Даринька, — «будто не ее был голос, такой восторженный, высокий...».

— Стойте, стойте!.. вот это как надо делать!..

Виктор Алексеевич увидал Дариньку, и в страхе показалось ему, что она не в себе...

Она схватила вилку, в мгновение ловко перевернула шелкавшего по блюду рака спинкой вверх, схватила... — и рак полетел в Зушу — было слышно, в мертвой тишине, как он шлепнулся. И тут же прелестный, «вдохновенный» голос:

— Так ведь лучше живому раку?.. правда?..

Если бы грянул гром в чистом вечернем небе, не поразил бы так, как это. Не только это: надо было видеть Даринькино лицо, глаза, робко... будто хотела сказать: «Глупая, сбаловала, простите

меня...» Опомнившись от такой неожиданности, все обступили ее, и ни возгласа, ни аплодисментов, а... взирали, в восторженном молчании. Виктор Алексеевич отлично помнил это «восторженное молчание». Что было в нем? Ему казалось, — «какое-то сложное душевное движение, неопределимое словами, как бывает при восприятии совершеннейшего произведения искусства».

Первым отозвался Караваев. Он отстранил мешавших, встал перед Даринькой, собрал мысли, обдумывая... и взволнованно произнес:

— Дария Ивановна... кланяюсь вам, от всех нас...

И он поклонился ей по-русски, в пояс, коснувшись перстом земли. Помнили, как длинная борода его коснулась пола.

А Даринька, странно спокойная, так же низко, легко, по-монастырски, поклонилась ему.

Все произошло в полном молчании, как бы в оцепенении. Чудесное было в поклонах этих.

Встряхнулись, оживились, всем сообщилась задушевность. Обед проходил в радостном возбуждении, «в какой-то пьянящей взбудораженности». Небывало разнообразный, тонкий, удививший самих хозяев. «Шереметьевский» превзошел себя. Много было выпито шампанского. Оно и все не прошли даром Дариньке: дорогой домой она чувствовала себя совсем разбитой. А за обедом была оживлена, до одного, впрочем, случая... — не одного: в конце обеда произошло «два явления».

Один из путейских, очень замкнутый, отличный певец, — вскоре он был принят в оперу и восхищал столицы — согласился охотно петь. Не захотел под имевшийся у Касьяныча рояль, а под отличную, привезенную Караваевым гитару. Спел «Во лугах», «Лучинушку». Был он некрасив, что-то калмыцкое, но так жило его лицо, что Даринька не могла глаз отвести. Пение захватило всех и растрогало Дариньку. И только кончил петь «Лучинушку» и взял дрожавшей от волнения рукой стакан вина...

XXIII ЯВЛЕНИЕ

...сочный голос отмерил барственно:

— Bravo, Шурик. Сегодня вы совершенно несравненны. Народу у трактира!..

Вошли двое: путейский и плотный высокий барин, лет за сорок, смугловатый, с безразличным взглядом чуть свысока. Одет приятно-просто: синий сюртук в талию, жилет-пике, брюки в клетку, верховые сапоги с отворотами, белейшие манжеты, стек. Кивнул знакомо-рассеянно: депешу подали в Липовом, на охоте... «Но лучше поздно, чем...»

— Ах, Павел Кирилыч, на сей раз не «лучше»! — сказал Караваев. — Пропустили неповторимое.

— А-а... — оглянул Кузюмов, — что же?..

— Это и непередаваемо.

— Досадно... — и развел руками.

Касьяныч хлопотал, опрастывая место для прибора. Кузюмов отказался: перекусил уже, да и жарынь. Вот коньяку — можно, и замороженного «Кремля». Его представили. Он отчетливо поклонился Дариньке, и ей запомнился его удивленный взгляд. Она была в голубой сарпинке, как на Иванов день в церкви, в серебристо-голубой повязке, синие бокальчики глоксиний в бутоньерке. Посадили рядом с Даринькой, были предупредительны-сдержанны. На дороге он был персона, —

его леса требовали тысячи вагонов, путейцы охотились в его угодах.

— Скоро едете?.. — спросил кто-то.

— Пока охочусь... — неопределенно сказал Кузюмов, — с манифеста дожидаясь, торопятся не очень. Я уже имел удовольствие видеть вас... — обратился он к Дариньке, — при встрече на станции, в одном поезде ехал с вами. И тогда же пришло мне... Вы человек свежий и вызвали такую у всех симпатию... это редкость в нашем городишке. Здешние легендарно злоречивы... да и плуты, Тургенев еще отметил. Когда на кого зуб, высказывают пожелание: «Амчанина те во двор!...»

— Не знаю... — сказала смущенно Даринька, — все приветливы, столько церквей... мне нравится здесь.

— Когда мы сами хороши, все сияет, — английская, кажется, поговорка. Желал бы знать ваше мнение...

Не находит ли она, что надо что-то... Проходят воинские составы... с лазаретами пока преждевременно, но... встретить на станции, надеть теплыми вещами... комитет тотчас же разрешат.

— Я совсем неопытная в этом... что же надо?..

— В вас с избытком, что надо!..

Даринька не поняла. Кто-то воскликнул: «Дарья Ивановна может горами двигать!...»

Она взглянула на Виктора Алексеевича. Кузюмов уловил ее взгляд и откачнулся на стуле, как в удивлении.

— Очень верно! — сказал он, не отмеривая слова. — И сама жизнь это раскрывает... проявляет. Сейчас один мне внушал: «проявление», барин!..

— Это про юродивую вы?.. — сказал Виктор Алексеевич. — Мы тоже слышали, но как-то не... Это о себе я... Дарья Ивановна верит, что чудеса возможны.

— Да, про дурочку, считали ее «юродной»... благодать на ней! Выкрикивала невнятицу, мазалась грязью... — опять мерил слова Кузюмов, и можно было понимать надвое. — Теперь она будто бы... Вы, Дарья Ивановна, ее видали... мне рассказывали, она вам попала у моста, как раз в день вашего приезда, и вы пожаловали ей белые лилии. Она побежала с ними в церковь, видели там и вас, с такими же цветами... и все это связывают с «проявлением». Весь городишко знает, что вы молились за Настеньку... и до моей Кузюмовки докатилось: «Настенька наша воздвиглась в разуме!» Что она, по-видимому, «воздвиглась», я сам свидетель. Сейчас с Георгием Владимычем видели ее чисто одетой и будто здоровой... — развел он руки, — она плакала, и взгляд у ней был ясный, никакой сумасшедшинки...

— Я тут не... — в сильном смущении отозвалась Даринька, — я только испугалась за нее, она чуть не попала под лошадей... попросила цветочков, и я дала. Если она исцелилась милостью Божией, надо радоваться и благодарить Господа!.. — сказала она покойно, без смущения, и Виктор Алексеевич понял, что она овладела собой, чувствует себя в своем воздухе, свободной.

— Разумеется... — сказал, пожав плечами, Кузюмов, — если случилось... чу-до... — и чуть уловимо улыбнулся.

Эту неясную улыбку, с оттенком усмешливости в тоне, Даринька поняла и взволновалась.

— Вы говорите усмешливо... — сказала она, бледнея, — зачем же говорить о таком, если не веруешь?..

Это так было неожиданно, что Кузюмов как будто растерялся. Поднял руки и сказал уже другим тоном:

— Боже упаси, я могу сомневаться, но никак не думал шутить таким.

— Ну, положим!.. — выкрикнул кто-то с конця стола. — Тон делает музыку... и Дарья Ивановна чувствует, что «усмешливо»!.. За здоровье Дарьи Ивановны!.. ура-а!..

Оказалось, крикнул юный путейский, собиравшийся закусывать живым раком. В первые минуты после своего «опыта» он был подавлен, считал себя «недостойным сидеть в присутствии...» — но его уговорили, Даринька сама подошла к нему и успокоила, даже сказала, что «смутила его», и он чуть не до слез растрогался. Теперь он был снова в раже и «восторгался». Хотя и осторожничали с Кузюмовым, но «раж» сообщился всем, и «ура» дружно поддержали. Все поднялись и, в гомоне, протягивали бокалы к Дариньке. Но что особенно примечательно, встал Кузюмов, с сияющим видом, и, поклонившись, выпил за ее здоровье. Но мало этого: сказал, неожиданно для всех:

— Перед вами, Дарья Ивановна, я могу быть только искренним. Вы правы, и я каюсь: в моем тоне было немножко и... усмешки. Ради моей искренности, вы, может быть, простите меня?..

Оглушительное «ура» было ответом на «искренность»: всем стало на редкость весело. Но Даринька чувствовала себя совсем смущенной, наклонила голову и нервно собирала крошки на скатерти. Все же ответила Кузюмову:

— Я не хотела обидное... мне показалось... усмешливо. И вы сами...

— Помилуйте, разве я могу быть в обиде!.. — воскликнул Кузюмов, — напротив, я должен благодарить вас, что вы так чутко подошли... и сказали так прямо, так достойно. Поверьте, я уважаю верующих людей и сам искренно хотел бы верить...

— Я знаю... — неожиданно для Виктора Алексеевича, сказала Даринька; неожиданно и для Кузюмова.

Он посмотрел удивленно, недоуменно даже.

— Вы знаете?!.. — спросил он. — Или, может быть, я не так понял ваши слова?.. Вы изволили сказать, что знаете, что... я уважаю верующих людей... Но вы же меня не знаете!..

Даринька смотрела растерянно, не понимая, почему она так сказала. Что-то спросив в себе, она ответила совсем спокойно и утвердительно:

— Думаю, что я могу сказать это: это хорошее, а о хорошем можно и нужно говорить. Я вас не знаю, но я слышала от других, и я не могу не верить, что это правда, так чувствую... — Виктор Алексеевич слушал, изумленный. — Вы защитили одну девушку, в Москве, очень религиозную... над ней посмеялся, над ее религиозным... один студент. Правда?..

Это «правда?» она сказала наивно-просто, совсем по-детски.

— Вы знаете это?!.. — сказал в удивлении Кузюмов. — Да, что-то в этом роде было... Но это... я, кажется, и тогда «сшутил». А тут, в случае с юродивой, проявление, то есть чудо, нельзя абсолютно отрицать, налицо факт, и вы... как-то участвовали в этом, по общему утверждению: глас народа — глас божий.

— Я только дала цветы, такая малость...

Она была в замешательстве, не знала, как кончить разговор. Но Кузюмов, видимо, вовсе не хотел кончать.

— Не смею спорить, но и через малое... Где-то сказано о «большом» через «малое»... «если имеешь зерно горюшное...» — запутался Кузюмов, может быть, и небессознательно.

Даринька взглянула на Виктора Алексеевича, прося избавить ее... и он понимал, как мучительно ей все это, пытался переводить на другое, но Кузюмов очень умело возвращался все к тому же:

— Поверьте, Дария Ивановна, этот случай меня очень захватил!.. Узнав, что говорят в городке, я послал за ямщиком Арефой. Право, отличный малый? И он мне все передал, со всеми подробностями. И по его тоже мнению, а он душевно умен... это началось с цветов. Он удивительно обстоятельный и верующий, в Оптину собирается...

— Да?!.. — воскликнула Даринька. — У него в лице такая чистота, доброта... духовная даже мудрость...

— Вот видите... и я ему поверил больше, чем всему городишке. Как он рассказывает, с каким воодушевлением... Говорил — весь сиял!.. Больная вдруг перестала бегать по городу и сидеть на Зуше, в грязи. А вчера видели ее в церкви, впервые за два года, во всем чистом. А сейчас я ее сам видел тихой, будто совсем здоровой.

— Да?!.. — воскликнула Даринька, взглянув на Кузюмова «осветляющими глазами». — Пречистая просветила потемнение в ней...

— Вы мне верите?.. — сказал Кузюмов, как бы прося, чтобы она верила ему. — Вам... я могу говорить лишь правду. Все сейчас говорили там... — махнул Кузюмов к городу, — что она в первый раз за эти годы заплакала! Вот сейчас, как мы проходили сюда в толпе. Народ тут, говорят, с самого утра толпится, чего-то ждет. Когда наш чудесный русский Мазини, Александр Иванович... Вы, дорогой, несравненной итальянца! ка-ак вы спели «Лучинушку»!.. ваше здоровье!.. — Он чокнулся с Артабековым. — И как раз она проходила с отцом и остановилась послушать... и — заплакала!.. Все говорили: «Гляньте, Настенька наша плачет!..» Она будто бы не могла плакать, была как закаменевшая. Это на моих глазах было. И ее отец, лавочник, тоже заплакал и стал креститься. Она показалась мне очень привлекательной! Как-то показывали мне ее, еще до «помрачения»... ну, мешаночка-красавка... чиновнички называли «дуська». А сегодня... никакой мешаночки, а, просто... девочка... дева... как вот пишут чистых... — Кузюмов чуть отклонился на стуле и посмотрел на Дариньку, — светильник, лилии... Словом, преображение, или, по-здешнему, проявление. Мне пьяненький почему-то пальцем грозился и кричал: «Проявление, барин... про-явление!..»

XXIV ЕЩЕ «ЯВЛЕНИЕ»

Кузюмов извинился, что позволил себе в таких подробностях коснуться такого — для него — «захватывающего случая». По его словам, для него самого было непонятно, почему это так его захватило. Не скрыл, что он вообще никакой в этой... да, важной области человеческого духа... хотя много преувеличенного о его «шутках», он это отлично знает.

— Поверьте, мне было бы очень... досадно, если бы вы принимали все, как здесь накручивают... — сказал он с оттенком горечи даже, обращаясь к Дариньке, — но, к счастью, вы — не все, в чем я отлично убедился, слыша из ваших уст. Верите, Дарья Ивановна, что я говорю совершенно открыто, искренно?..

— Верю, — сказала Даринька.

— Благодарю вас... — поклонился Кузюмов. — Извините, я отошел от поднятого мной текущего, в связи с войной. С вашего позволения. могу я к вам побывать, и мы обсудим, что надо предпринять?..

— Да... — занятая чем-то своим, рассеянно ответила Даринька.

Виктор Алексеевич поспешил поправить ее оплошность:

— Пожалуйста, заезжайте... это, конечно, очень нужно... Дарья Ивановна не раз говорила, что мы должны облегчать страдания... это ее душевная потребность. Мы сумеем организовать и пробудить общественность... очень важно.

Разговор перешел к войне. Осман-паша, говорят, разбил нашу дивизию, а в газетах хоть бы слово. Что точно известно?..

— По последней депеше штаба, Осман-паша не разбил, а отбил атаку пятой дивизии генерала Шульднера... — сказал Кузюмов. — Как раз вчера у меня был проездом раненый офицер-волынец, едет к семье... Как раз под первые пули угодил, когда форсировали Дунай, в ночь на пятнадцатое июня. Коньяку?.. Пожалуйста. Вы не позволите?.. предложил он Дариньке. — Эти «наши корреспонденты»! Все, что они пописывают, надо принимать, как говорится... «кум грано салис»[1]. Сотни примеров. Да вот, на днях... помните?.. во всех газетах мы читали... «Геройской смертью пал ротмистр лейб-гвардии гусарского Его Величества полка, князь... Дмитрий Вагаев»?.. — отмерил он.

Виктор Алексеевич почувствовал, как холодная рука Дариньки сжала его руку. Кто-то сказал: «Да, да... было... а что?..»

— «Пал геройской смертью...» Воображаю, как отозвалось в Питере, он там гремел. И что пережила моя тетушка, его мать, в своей Тамбовщине! А на самом деле мой милый Дима... только ранен, хотя серьезно.

Виктор Алексеевич почувствовал, как Даринька выпустила его руку, и услышал вздох. Он взглянул на нее: она сидела как окаменевшая, но ее лицо слабо розовело.

— Дайте... каплю... — сказала она Кузюмову, наклоня лафитничек. Кузюмов поспешно налил. Она пригубила.

— Вы, кажется, встречались?.. — спросил Кузюмов Виктора Алексеевича. — Дима не раз поминал вас... Вейденгаммер, если я не ошибаюсь?

— Как же, мы вместе учились в пансионе моего отца, да и потом видались. Добрый малый, восторженный немножко...

— Сорвиголова. Да, фантазер, романтик... немножко поэт, и не без таланта. И порядочно образованный. При своем донжуанстве как-то ухитрялся находить время почитать. Женщины были от него без ума. Был даже один дворцовый романчик, чуть не сломавший его блестящую карьеру. Правда, красивый малый, с некой остротой... статный, чудесные черные глаза!.. Представьте, какая же насмешка: теперь кривой.

— Кри...вой!.. — воскликнула невольно Даринька.

— Пуля пробила глаз.

Даринька передернулась.

— Глаз вытек, — продолжал спокойно-повествовательно Кузюмов, — но пулька осталась в голове.

И он пишет мне с волынцем: «Прибавил весу... на пульку». Поедет к маме, заедет ко мне, проездом. Да... спрашивает, далеко ли от меня вы... он почему-то знает, что вы «где-то недалеко от Мценска».

— Он заезжал к нам перед отъездом на войну... меня не застал... Дарья Ивановна видела его и сообщила, что и мы уезжаем... — сказал Виктор Алексеевич.

Кузюмов хотел что-то спросить у Дариньки, но только чуть скользнул взглядом по ее неподвижному лицу и не спросил.

— Как подлечится, думает опять... «весу добирать».

Замороженный «Кремль» был великолепен. Кузюмов куда-то собирался — «к десяти, по делу». Спрашивал Дариньку, не скучно ли ей здесь «после Москвы». Она отвечала неохотно, чувствовала себя усталой. Подсел Караваев и стал сказывать ей смешную сказочку, что теперь там, в реке... какой переполох у раков!.. Не выдывали такого «великана»... — и так отлично рассказывал, представляя в сценах и с мимикой, что улыбалась и Даринька. Рассказывали Кузюмову «неповторимое» и «непередаваемое». Пожалел Кузюмов, что не видал. Синели сумерки, но с реки еще отсвечивало зарей. «Касьяныч» засветился фонариками, жгли бенгальский огонь, шелкали ракеты. Просили Артабекова еще петь. «Раз такое „галя“ [2]...» — мотнул он за реку, где чернело по берегу народом. Запел из «Аскольдовой могилы»: «Уж как веет ветером...» Пели и хором, под звезды выносил «русский Мазини»:

...Ра-азовьем мы бе-э-резу...

Ра-зовьем мы ку-удряву...

Было к полуночи. Кузюмов, давно собиравшийся уехать, — «к десяти, по делу одному...» — прощаясь, сказал Дариньке: «Душу отогрели», — и можно было понять, что говорит о песнях. После его ухода Виктор Алексеевич пригласил всех отпраздновать новоселье в ближайшее воскресенье.

Тройка несла ночными полями, в звоне. Даринька молчала, спрятав лицо в букет гардений и магнолий.

XXV СПОКОЙСТВИЕ

Виктор Алексеевич удивлялся, как Даринька свободно говорила на обеде, и особенно — как сравнительно легко приняла известие о Вагаеве. По разным соображениям он так и не сказал ей, что Дима убит, как прочитал в газетах, когда ехали из Москвы. Теперь само сказалось. И хорошо, а то бы она могла подумать, что нарочно он выдумал о смерти. Услышав, что Дима жив, но «окривел», он почувствовал спокойствие. В этом «спокойствии» было что-то тревожащее совесть, признавался он, и он избегал смотреть Дариньке в глаза. Когда она молчала по дороге из города, его мутило: потрясена известием, больно ей.

— Я не мог понять, что во мне: рад ли, что теперь «больше ничего не будет», или — что Дима жив... Она почувствовала, взяла мою руку и сказала: «Я так спокойна, милый... так надо было, и мы должны принять это, как Его милость нам... ты мог подумать, что я жалею о нем... нет, я рада за него и за нас». Она успокоила меня этим, и я понял, что и я рад, что Дима жив. Моему «спокойствию» содействовало, конечно, и то, что он окривел, каюсь. И я соглашался с ней, что «так надо» и что это нам милость...

Насколько она была выше моей душонки!.. Тою же ночью я убедился, насколько она была и глубже, мудрей... Дорогой я перебирал все случившееся на обеде. Ее разговор с Кузюмовым поразил меня, как, думаю, и всех. Да и самого Кузюмова. Он вдруг переменял тон превосходства и стал... затрудняюсь определить: приятней, ясней?.. Все отмечали эту перемену. Да и случай с «избавлением рака»... это было действительно «неповторимое». Я спрашивал себя, почему в таком

глупом опыте юнца произошло то, чего, казалось, никогда бы не могло быть? Почему все, после первых рюмок настроенные на шутки, вдруг притихли и были изумлены? бьюсь об заклад, что все, и я в том числе, ожидали, когда она схватила вилку, что она эту вилку... вонзит в рака! — и я испугался, что она не в себе. Потому испугался, что видел безумно-восторженное лицо ее, какую-то... безудержную решимость. А произошло совсем иначе, по вдохновению, «неповторимое и непередаваемое», как сказал метко Караваяев. Сто женщин в подобном случае сделали бы, как всегда в таких шутках: одни возмутятся дикостью, другие высмеют шутника, отнимут рака... ну, залюбопытствуют, как «аплодирует» рак, как дерзатель станет жевать «прямо со скорлупой». А тут был дан урок, и как целомудренно и властно. И вот почему притихли: почувствовали творческое сердце, красоту душевного движения. Это было то же «проявление». И эта дивная робость, смущенье, это «исподлобья», это сознание какой-то вины... Какой вины? А вот какой: «Мне стыдно, что я, совсем необразованная, должна была показать вам, какие вы... какие все мы». Стыдно за творческое движение сердца! Вот чему изумились все. И потому этот... эти два «просящих прощения» поклона. Вдумайтесь-ка, наполните эти поклоны содержанием! Тут — головокружительная высота. И через наиглупейший пустяк! Как же не почувствовать радостно паренья Духа — в «персти»?! А случай с юродивой, уже известный иным из сотрапезников, жившим в городе, еще поспособствовал эффекту. Мы-то и не знали. Все знали, и в Уютове уже знали, как я удостоверился после, и на Поповке знали, и в Кузюмовке знали... и, я не постигаю, почему-то сдерживались сказать нам прямо. Боялись, что ли, ввести в смущение Дариньку? не верили? Первым сказал Арефа, но сказал прикровенно, сдержанно, как бы спрашивая себя, можно ли сказать прямо. Открыл Кузюмов, несколько с усмешливой улыбкой и сейчас же был удивительно тонко выправлен. Прорываясь сквозь толщу тревожных дум, слагалось во мне нечто: «Странная вещь, зачем-то надо было, чтобы открывшееся народу „проявление“ закрепилось всенародно и на глазах никакого в вере Кузюмова „слезами умягчения“, вызванными родною песнею, тут, рядом с пиром?» Все было не случайно, подумалось мне тогда же, в ночи, дорогой. А Даринька ясно видела. Все это творило в нашей душе «спокойствие». В ту ночь, бессонную от мыслей, я сознал, какой дар послан был мне в темную мартовскую ночь, когда я решил кончить с бессмысленной жизнью, когда, идя бульваром, я повторял пушкинские стихи: «Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана?..» И мне был послан дар, и этим даром приказано было мне: живи и познай.

В эту бессонную ночь, после «Касьяныча на Зуше», предстала Виктору Алексеевичу некая загадка — «о петухе».

XXVI ПОЧЕМУ?

Когда вернулись в Уютово, было за полночь. Даринька поднялась в светелку: там, в боковой комнатке-фонаре, устроила она себе уединение, для молитвы. Виктор Алексеевич знал, когда она начинала и кончала молиться, — по шороху шторок, сухих, трескучих. Знал, что после молитвы она будет смотреть на звезды — «радоваться», поведала она как-то. Сковородка в селе отбила, с опозданием, полночь. В окно кабинета-спальни Виктора Алексеевича вливалась ночная свежесть, благоухание цветников и нагретых за день елок, Чтобы успокоить мысли, он по привычке почитал немного, — попала книжка журнала с «Анной Карениной». Почитал, как косил Левин со стариком и полдничал с ним у речки. Услыхал скрипучие ступеньки от светелки, хотел выйти к Дариньке и не решился: она помолилась, не надо ее тревожить. Слышал, как прошла она в спальню и затворилась. Услыхал шорох полотняной шторы и понял, что она подняла ее и смотрит в сад, — так всегда делала, говорила цветам «покойной ночи».

Он подошел к окну. Сквозь елки мерцали звезды, пряный еловый дух тянул в комнату. «Чудесно, все чудесно... — подумал он, чувствуя, как он счастлив, — чудесно-стройно». Узнал Вегу, особенно яркую сегодня, высунулся в окно и на конце еловой ветки узнал Арктур, мысленно провел линию и нашел Альтаир, столь же, как Вега, яркий. И услышал сковородку от Покрова, там, где созвездие Персея, — один удар. Был час ночи. И тут же пропел петух. Виктор Алексеевич подумал, что рано выбил сторож, недавно било полночь, а первые петухи кричат чуть за полночь. Зажег спичку и посмотрел на каминные часы: было двенадцать минут первого. Подумалось:

«Первые петухи кричат чуть за полночь, верно... почему так верно?» Вслушивался, как петухи перекликались. Показалось ему таким необыкновенным это ночное, урочное пение петухов, будто в первый раз в жизни слышит.

Так он слышал действительно как бы впервые в жизни, и в петушином крике почувствовалась ему особенная значительность. Конечно, не раз он слышал, но без внимания, будто не слышал, хоть и засиживался за полночь с чертежами. Не внимал этим крикам, и не было мысли, что поют петухи, и почему поют по ночам и так урочно. В юности жывал летом в имении и не помнил, чтобы слышал петушьи ночные переклички, и не задавался вопросом, почему петухи... — и только одни петухи из всех пернатых — поют по ночам урочно, трижды. А в эту ночь слушал и вопрошал себя. В перекличках он различал уютовских и покровских петухов, и заречных, от Гнездова, версты четыре... В этих перекликаньях чувствовался ему строй, налаженность, словно у петухов было условлено, кому и когда вступать. Он с обостренным вниманием стал слушать. Затихали покровские, а уютовские чего-то выжидали... выжидали, когда доплывут едва различимые, как бы спросоночные гнездовские. И только эти слышатся, тотчас же, и оглушительно, раскатывались уютовские. Глухой ночью могло казаться — оглушительно. Как он потом проверял не раз, ночные петушьи крики были не похожи на дневные. Слышалось как бы принуждение, велящее полупроснуться и прокричать. Когда завершится круг этих урочных криков, стихнут, заснут до срока.

В ту ночь в мыслях Виктора Алексеевича родился вопрос: почему? почему так урочно? почему только петухи? Ни у Брэма, ни после, у Мензбира, он не нашел, чтобы ночью, урочно, трижды кричали другие птицы.

Он пытался отвлечься от этих навязчивых вопросов, зажег свечи — и не мог читать: в ушах перекликались петухи, застряли. Принял лавровишни, но ему все казалось, что петухи продолжают петь. Объяснял это нервами. Осаждали мысли, давно забытое. Вспоминались и начинали томить ошибки и проступки, будто их разбудили и осветили ночные крики... Он вспомнил, что славяне именовали петуха «будимир»: «буди народ». «Буди»... — для него это словно углубилось, раскрылось через Дариньку, и открытие поразило его.

Виктор Алексеевич знал, что не заснет от горячивших мыслей. Иногда ему помогало, если поест. Подумал, не поест ли, и почувствовал, что голоден, с обеда прошло немало. Он взял свечку и пошел в столовую, осторожно, чтобы не потревожить Дариньку. Открывая буфет, забыл, что створка откидывается с треском. Так и вышло. Даринька окликнула: «Ты что... плохо тебе?»

— Да нет, милая... не могу заснуть, есть хочу... — сказал он, смеясь, — копченую колбасу ем.

И услышал, как Даринька спрыгнула с постели. Она вышла в голубом халатике, косы на грудь.

— И я хочу колбаски... или лучше открой сардинки, я совсем голодная, в обед почти ничего не ела.

Радостные, как дети, закусывали они у буфета, не садились. Вокруг свечки кружились мотыльки. Сковородка пробила два. И тут же крикнул петух, уютовский.

— Слышишь?... — сказал Виктор Алексеевич. — Вторые петухи.

— Да, вторые. Почему ты так, серьезно? что поздно, да? Я люблю их слушать... часто просыпаюсь, когда им петь... будто я тоже петушок... — улыбнулась она, сияя жемчужными зубами.

— Нет, ты курочка и должна спать. Почему-то не мог заснуть. Запели первые петухи, и будто я в первый раз услышал их, разные мысли одолели. Пришло почему-то в голову, навязалось: почему только петухи поют трижды ночью, и в час урочный? Слышишь, тоненькие, далекие... это гнездовские.

Она удивленно посмотрела: что он, шутит? что тут особенного?

— И почему-то мне надо решить навязчивый вопрос этот: почему ночью, трижды...

— Чего же тут решать? Поют потому...

— Ты знаешь- почему?.. — перебил он ее.

— Конечно, знаю... давным-давно известно! Потому что им так назначено.

— То есть как назначено? откуда ты знаешь, кто назначил?..

— Назначено извечно, от сотворенья.

— Ты так решительно говоришь, милочка, словно была при «назначено»!

Он хотел поцеловать ее, но она уклонилась.

— Или ты никогда не читал Евангелия? не слышал — «не пропоет петух три раза, как ты трижды отречешься от Меня»? Вот почему. Почему ты так смотришь, тебе не верится?.. Вдумайся и тогда поверишь. Тут не для одного Апостола Петра, а для всех. С того страшного часа, когда Петр сознал свой страшный грех... петух напомнил ему... и он горько плакал... плакал... — шептала она, и слезы были в ее глазах, — горько плакал... мучила его совесть... Ах, если бы ты слышал, как матушка Мелитина толковала это Евангелие... и все мы плакали!.. И вот с самого того часа открылось людям во святом Слове... «крик совести» открылся. Нет, я спутала... совесть всегда, это живой голос в сердце человеков... С того часа, когда ночью кричит петух... всем должно помниться, что случилось тогда.

Взволнованная ей вспомнившимся — «что случилось тогда», истомленная трудным днем, она сказала усталым шепотом;

— Успокойся, ступай и ляг... и я... я так устала...

Она подошла к окну.

— Какая глубина, Господи!.. — прошептала она молитвенно, сложив на груди руки, смотря на усеянное яркими звездами небо, не тронутое еще зарей. — Покойной ночи.

И затворилась в спальней.

Он стоял, думая, что она сказала. В нем осталось, со всеми неуловимыми тонами, исполненное чувства глубочайшего: «Какая глубина. Господи!..»

XXVII ДВИЖЕНИЯ ДУШИ

Только много спустя уяснил себе Виктор Алексеевич, что высказала Даринька словами «какая глубина, Господи!». Не о своде небесном только говорила, а обо всем: для нее эта глубина включала и земное, — вещи, движенья, звуки: во всем ей виделась глубина, все было для нее знамением, все было связано неразличимым для глаза строем, истекало из одного Истока, во всем чувствовался глубокий Смысл.

Решение вопроса о «петухе», так его изумившее, — он решение это называл «колумбовым яйцом», — бросило свет на восприятие мира Даринькой и неощутимо влияло и на него. Он не замечал, каким богатством одаряла она его. По его словам, он как-то получал «новые глаза»; в самом

мелком и скучном из земного находил значительное, и это так настраивало его, что даже в зарядившем надолго дожде осеннем и в невылазной распутице чувствовалась ему своеобразная красота. Это новое почувствовалось им не вдруг, а как бы выросло из чего-то, не постигаемое рассудком. Только впоследствии путем духовного опыта он понял, из чего это выросло... кому он обязан этим.

Наутро, после бессонницы, уснув на короткий час, он поднялся в благостном настроении. Утро было великолепное. Дариньки не было. Таня сказала, что барыня в церкви, а потом будет панихида. Какая панихида? Он заглянул в календарь: вторник, 11 июля, св. равноапостольной кн. Ольги. Это ничего не объяснило, Когда вернулась Даринька с Алешей, он понял, и ему была приятна душевная чуткость Дариньки.

— От нее вся эта красота, ставшая теперь нашей, — сказала она, — и мне захотелось помолиться.

Она была радостно-покойна. Он сказал ей, что хочет проехаться с ней в Москву, закупить кой-чего для новоселья. Она охотно согласилась, а то все говорила, что «из Уютова теперь никуда». Решили ехать завтра, чтобы вернуться в пятницу, приготовиться к воскресному приему.

Назавтра поднялись рано. Даринька собиралась весело, — «столько в Москве мне надо!». Надела серенькое, дорожное, сумочку на ремне. «Совсем англичанка стала, — сказал Виктор Алексеевич, — и Москвы не пугаешься». Она бойко взглянула и сказала: «Вот и пригодились, деньги-то подарил тогда!» Вспомнила про лежавшие на книжке десять тысяч. Какие-то у ней были планы на эти деньги. Просила выехать пораньше, — «в городе дело у меня». Иного ждал, после оглушения, как называл известие о Диме, а оглушения и не получилось.

Повез Андрей на паре кургузых вятков, 8 пробил сквородка. Только выехали на городскую площадь, Даринька велела — «в лавку Пониткова». Шепнула: «Скрягу сейчас увидим». Андрей сказал: «Жо-ох старик, а милиенщик страшный... собак не держит, не кормить чтобы, ночью лаять во двор выходит, я сам слышал».

Зашли к Пониткову. Это был большой лабаз, забитый кулями овса и соли, мешками с мукой, ящиками бакалеи. За прилавком, меж стеклянными банками пряников и мармелада, белела борода веером. Понитков пил желтый чай с огрызком сахара и черной корочкой. Удивился таким покупателям: на паре, в какой коляске! Накрыл сахарок от мух, привстал и внимательно оглядел.

— Вы купец Понитков? — спросила Даринька.

— Самый я. Чего изволите, сударынька?

Даринька сказала, что много лет у него забирают, из Уютова.

— Из... Уютова? что-то не слышал-с... У-ютова?..

— Ах, все я... из Ютова.

— Так-так... вы, стало-ть, новые владельцы... слышал-слыхал, очень хорошо слышал-с... Присесть барышне выбери там чего! — крикнул он мальчишке. Тот грохнул об пол ящик. — Не взыщите уж, была табуреточка, да разлезлась. Изволите чего приказать?

— Запишите... мятных пряников полпуда. Для певчих наших.

— Это вот хорошо, барышня... певчие там — архангельский прямо глас.

— Да, да... это вы пример показали нам... все помнят, как пряничков им прислали. Вот и мне в голову пришло.

Старик умильно взглянул на Дариньку.

— Быдто и посылал, напомнили... а то забымши. Сказываете, помнят?

— Как же ласку не помнить! всех так растрогали.

— Чего ж тут, послал пустячки, — пошарил исподлобья старик по банкам, — не стоит и разговору вашего.

Велела еще леденцов, «и еще мармеладцу, хоть по пять фунтиков. Да Покровским ребятишкам сластей каких фунтов десять...»

— И ребятишкам можно-с, хоть и баловство. Прикажете записать-с?

— Нет, сейчас заплачу.

Расплатилась из сумочки. Старик проводил до коляски, раскланялся уважительно, сказав:

— Так-так... слышал-слыхал... о-ченно хорошо слышал-с, дай Господи.

Даринька приказала — «в посудную лавочку, где Настенька».

— На минутку, что-то давно у Матвевны не была... — сказала она Виктору Алексеевичу.

— Исцелена она теперь, — сказал Андрей, — чистая теперь ходит, как умная.

Сказал просто, будто самое обычное для него это- «исцелена». Нашли лавочку «Посуда и всякая игрушка». Моложавый, приятный хозяин сказал:

— Дочку повидать желаете... — И они увидели в его глазах что-то грустное. — Многие любопытствуют, а она совестится... смиренная она у меня. И сам-то страшусь... тревожно для нее... ох, тревожно! На зорьке еще ушла с подружками в Оптину, обещалась поговорить, совета-благословения у батюшки спросить.

— Слава Богу, — сказала Даринька, — теперь здорова она?

— И сказать страшусь... здорова, словно?.. — сказал шепотком тихий человек и перекрестился-вздыхнул. — Три года ограждала, не в себе была. Чудо Господне, вдруг просветлело в ней. А вы, барышня, что же, знавали мою Настеньку?.. сами-то вы откуда быть изволите?

— Из Уютова мы. Настеньку раз только видела...

— Что-то я не слыхал, У-ютово? Может, Ютово?..

Узнав, что из Ютова, тихий человек озирнулся, будто растерялся.

— Так это вы... поместьичко купили?.. Господи, как же она зарилась к вам, говорила все — «папашенька, хочу пойтить, да обеспокоить боюсь». Хаживала она к Аграфене Матвевне, доверялась... видала ласку. Не гнушалась Аграфена Матвевна. Обижать не обижала, а сами, барышня, понимаете... воздерживались. Барышня, милая... через вас ей легкость-то подана, во сне вас видала. Три года и плакать не могла, так ожестчилась... а теперь все-то плачет, и легко ей.

Он замотал головой и заморгал.

— Радуйтесь, зачем же плакать!.. — сказала Даринька. — Нам посуды надо, Матвевна пришлет записку. А дочке скажите — непременно чтобы зашла, отдохнет у нас.

Тихий человек вышел на улицу за ними. Когда Даринька садилась, он перекрестился и поцеловал ей руку.

— Спасительница наша!.. — воскликнул он.

— Что вы, что вы!.. — сказала Даринька. — Пречистая смиловалась над ней!..

Коляска покатила. От лавок смотрел народ, снимал картузы. Даринька всю дорогу до станции молчала. Виктор Алексеевич говорил:

— И отлично, пусть верят, что твоими молитвами!.. ты не возгордишься, а им это в утешение.

На вокзале их встретили почетно. Заведующий составами приказал прицепить к ожидавшемуся курьерскому вагон-салон. В Москву приехали к ночи и остановились в «Славянском Базаре».

XXVIII НАПУТСТВИЕ

Даринька проснулась в высокой, красивой комнате, в «золотых покоях», — они занимали три комнаты, по-царски, — и увидела на мраморной колонке букет магнолий, редких и для Москвы цветов. Повсюду, на столиках и этажерках, были розы. Виктор Алексеевич окликнул из-за бархатной занавески: «Можно?» — и, получив певучее: «Да-а-а!..» — вошел, совсем готовый, в свежем кителе, с фарфоровой чашкой на серебряном подносе, и она услышала запах шоколада. Взяла его руку и закрыла себе глаза.

— Ты милый... — шепнула она, водя рукой по глазам.

Он слышал, как щекочат ее ресницы. Подали отличный завтрак: горячий филипповский калач, икру, швейцарский сыр, всякие булочки, сухарики. Он завтракал с нею у постели, просил не торопиться, отдохнуть получше. Она корила себя: хотела проснуться рано, в Страстной к обедне, а скоро десять, — «Москва эта сумбурная».

Виктору Алексеевичу надо было получить сибирские деньги, заехать к адвокату, покупки разные, и самое приятное — порадовать Дариньку «сюрпризом». Они вышли вместе.

— Как же это... — досадуя, сказал он, увидев у проехавшей дамы кружевной зонтик, — у тебя нет летнего зонтика!

Усадил Дариньку в шикарную коляску, заказанную накануне, и пожалел, что не вместе едут, приходится торопиться, что в два дня сделаешь!

— Будоражная эта Москва... в Уютове сколько бы переделали за утро!.. — вздохнула Даринька.

Он сказал: «Милая, мы же кутим!» — и увидел радостно-детский взгляд.

— Как тогда?..

Москва оживляла в обоих первые дни их жизни. Он просил не задерживаться, сегодня обедают в «Эрмитаже».

— Не отпускай коляску!.. — крикнул он с лихача. Даринька любовалась на магазины и думала: «Этот московский омут, больше не поеду». Все, что мелькало и манило, было только случайное, в ее воле: была теперь верная пристань, Уютово. А этот соблазн — грешки. Поймала себя на помысле: было приятно катить в коляске, видеть, что многие смотрят на нее.

Было к одиннадцати, обедня в Страстном кончилась, будний день. Под святыми воротами сидела незнакомая старушка. Даринька попросила вызвать привратницу. Старушка позвонила в «сторожевой». Пришла незнакомая белица и сказала, что собор заперли, просила обождать иеромонаха у часовни. На лице Дариньки была вуалька, старичок не узнал ее. Не признала и послушница Степанида-рябая, шутница. Дариньке вспомнилась песенка про нее: «Степанида рыло мыла, мыло пальмово хвалила»; она опомнилась и закрестилась. Стояла всю панихиду на коленях, взывала мысленно к матушке. Служили и на могилке Виринеи-прозорливой. Старичку дала два рубля, и он поклонился ей низко-низко. Дала полтинник смешливой Степаниде, та ахнула. Посидела на матушкиной могилке, вспоминала. Радовалась уходу: свежая трава, цветы, какие георгины! — не место печали и вздыхания, а «вечный покой», сад Божий. Припала и воззвала: «Не оставь сероглазую свою!» Не было прежней боли — покой и грусть.

Шла келийной дорожкой, по цветнику, радовалась бархатно-пышным георгинам: земные звезды, цветы духовные, темные, как церковное вино. Присела на скамейку у цветника, скрывши лицо вуалью.

Был час покоя, полуденный. Тихо было в обители, — тихий свет. Не доходил сюда гул московский. Гудели шмели — переломилось лето. На колокольне отбило в два перезвона — раз. Проверила золотые часики на груди: половина первого. Признала во втором ярусе келийного розового корпуса окошки, где жила с матушкой. Не было клетки с чижиком. Вспоминала тихое житие. Вспоминала душный июльский день, такой же: ходила к вечерням, ставила самоварчик матушке. Вспомнила: «Над нами покои матушки Мелитины были». Узнала вязаные занавесочки, лоточки на карнизе с петуньями. Хорошо у матушки Мелитины было, миром и кипарисом пахло, дивные образа... как училась на фисгармонии. И услышала молитвенные звуки, густые, важные: «Блажен муж... иже не иде-э...»

Играла матушка Мелитина, в час покоя, как и тогда. Подумала: «Зайти?» Стыдно, и еще «англичанка» будто. «Всего не скажешь, еще и ее смутишь». Слушала, затаившись, всегда покоившее, вечернее — «Алли-лу-и-и-и-а-а...».

Услыхала шаги, взглянула: от больничного корпуса подвигалась, постукивая клюшкой, старенькая монахиня. Поравнявшись с Даринькой, старушка приостановилась, оглядела — и покивала госте. Даринька быстро встала и поклонилась, иночески, легко-привычно. Монахиня молвила молитвенно: «Спаси тя Христос и Пречистая», — и пошла, потукивая клюшкой. Радостно было Дариньке слышать святое слово.

Хорошо было в тишине и благоухании цветника, в полуденный час покоя, но время было идти. Она тихо пошла к вратам в торжественных переливах песнопения: «Блаженны непорочные, в путь ходящие в законах Го-спо-о-дних...» Остановилась на плитах главной дорожки, которая шла к собору. Не было ни души. Она опустилась на колени и поклонилась земно, долго не поднимала головы. А когда поднялась, все еще слыша низкие переливы фисгармонии, увидела давешнюю монахиню, подвигавшуюся от святых врат навстречу. «Что бы спросить у ней? ласковое сказать?... цветочков на память попрошу...» Забывшись, откинула вуальку и услышала — будто в ответ на мысли:

— Возьми, деточка, цветочки... в память нашу. Монахиня дала ей вязочку душистого горошка, молвив:

— Давеча еще признала... белица была наша?..

— Да, матушка, — чуть слышно сказала Даринька, — Дарья грешная... простите меня, матушка... — и укрыла лицо ладонями.

— Господь с тобой. Да, грешная. А кто не грешен!.. все грешные перед Господом. Не забываешь обители, смиряешься. Милая... кто и в обители, да без обители... а кто и без обители в обители. Упомнила я тебя, изюмцу-то приносила мне?.. в больничной я лежала, а ты навещивала.

Вспомнила, а? матушку-то Аглаиду?..

— Вспомнила!.. вспомнила, матушка Аглаида... вспомнила!.. — воскликнула Даринька в радостном порыве и припала к плечу старушки.

— Деточка милая, чего ж плачешь-то? Не плачь, а живи по Господню Слову, вот и путь твой. Не легок путь твой, а ты не сбивайся с него, и поможет тебе Господь. Иди, милая, не оставит тебя Пречистая.

И пошла, потукивая клюшкой, Смотрела ей Даринька вослед. Порывалась пойти за нею, ласковое сказать хотела, и не нашлась. Почувствовалось ей, что не надо тревожить матушку, все сказала. И вспомнилось: Аглаида — «светоподобная». Почитали ее в обители, называли молитвенницей и светлосердой.

На выходе подала рублик на тарелочку и заспешила к ожидавшей ее коляске.

День становился жарким, удушливым. Хорошо было ехать теневой стороной бульвара. Спелой малиной пахло — с лотков, или варили в садах варенье. Сказала кучеру ехать в гостиницу, а он почему-то взял бульваром, может быть, прокатить хотел. Приятно укачивало в подушках. Узнала проезд бульвара и вспомнила, что хотел а навестить Марфу Никитишну, просвирню. Признала поворот в улочку, где жили, остановила: «Погоди минутку, сейчас я...» И побежала улочкой.

Все было то же, знакомое: заборы, сады, крылечки. Увидала высокую рябину, угол террасы над забором. Приостановилась передохнуть. Смотрела на домик, где... — чувствовала болезненное и светлое. Окошки были открыты, пахло краской, ни души не было, тишина. Она постояла на крылечке, вспоминая... Не думая, потянула пуговку звонка в чашке. Звякнуло резко в пустоте — тот, «страшный», колокольчик. «Господи, зачем я?..» — прошептала она, смотря на глухую дверь. Помнились сугробы, натопанные следы... голубой шарфик, смерзшийся... Подошла к воротам, заглянула в полуоткрытую калитку. У сарая лежала все та же куча бревен, заросшая крапивой. Обошла дом, до сада, и захотелось взглянуть на сад. Прошла тропкой в кустах жасмина, постояла минутку на террасе... — «вот тут упала тогда...». Темно густели георгины, уже в бутонах. Пошла травяной дорожкой, узнала антоновку, где делали каток с Анютой, и увидела клумбу. Села на валковую скамейку под рябиной, увидела сирень, торчки поломов. Маргаритки пожухли, смотрели грустно. «Зачем я это?..»- опомнилась она, чувствуя слезы на лице. И быстро пошла из сада.

На углу улочки к бульвару темнели головы лошадей, и она вспомнила Огарка... Велела кучеру: «Поскорей, домой». Был второй час, в начале.

XXIX «ВЗРЫВ»

Виктор Алексеевич вернулся и беспокоился. Дела устроил, виделся с адвокатом и получил больше, чем ожидал. Виделся и со знатоком родов российских. Узнанное его ошеломило. Ходил и ходил по комнатам, смотря на часы и в окна. Наконец увидел коляску, высунулся в окно, хотел крикнуть- и бросился по коридору, встретить на лестнице.

— Дара, как я измучился!.. ужасы передумал... — сказал он, целуя руку.

— Забыла время, сама не знаю... — говорила она, в волнение. — Я была... там...

— И я бы с тобой, но вот, дела... хотел поскорей, ты не любишь Москвы... — говорил он спеша.
— Как там... ничего с тобой?..

— Где- там? — не поняла она.

— В Страдном... ты всегда смущалась...

— Там чудесно, покойно, ласково... вот цветочки... — протянула она ему поблекшие мотыльки горошка, — в воду скорей поставь... как дивно пахнут! получила такое... после скажу. Там я была, у нас...

— Где — там?.. — нерешительно спросил он — и понял: — В улочке? почему ты... что тебя так встревожило?..

— Совсем и не думала туда... — сказала она досадливо, — сколько там было тяжелого, ужасного!.. Не говори, я сейчас покойна и не хочу... Матушка Аглаида дала, сказала... она молнтверница, светлосердая... сказала: «Ты и без обители в обители». Еще сказала: «Трудный твой путь, а ты не сбивайся... Понимаешь, с тобой путь этот, всегда...» — сказала она с решимостью, положила руки ему на плечи и смотрела в глаза.

— Да-рья!.. — вскрикнул он, так называя ее впервые. — Моя Дарья!.. с тобой, всегда!.. до конца!..

— Да, да... — шептала она как в забытьи.

— Дар мне ты... как же ты выросла, вся другая!.. и прежняя. Душу твою хочу влить в себя, всю тебя!.. — повторял он, захваченный чем-то новым, что теперь видел в ней.

Это был взрыв всех чувств. Виктор Алексеевич записал в дневнике, что испытал в тот памятный день, 12 июля:

«Это было чистое, высокое чувство, и оно передалось ей. Такого я никогда не знал. Чем-то, не рассудком, постиг я, что она мне дарована. Может быть, и до „взрыва“ уже постиг, получив справку адвоката? Не знаю. „Взрыв“ раскрыл это чувство до полноты».

Забыв все, упал он к ее ногам. Тут постучали: «Депеша!» Виктор Алексеевич прочел вслух: «Сдано пассажирским Мценск Циммерман».

— Bravo, Юлий Генрих Циммерман!.. — расхохотался он.

— Кто это — Циммерман? — спросила недоуменно Даринька.

Он просил сделать для него, — потерпеть. Вернутся в Уютово — узнает маленькую радость.

Было около двух, в «Эрмитаже» оставлен за ними столик, надо не позднее половины третьего: съезд из Петербурга, — ожидали проездом из Крыма Государя, — все-переполнено. Просил приодеться ради такого дня, не в дорожном же сереньком. Но в чем же?.. Все предусмотрено, и, кажется, недурно вышло. Зашел купить зонтик, кстати и шляпку к зонтику, и удачно попалось на глаза, — показал он на длинную картонку, — «Мерку твою я помнил, не понравится — обмени».

— Хочешь закружить, кактогда?.. — сказала она, убегая с коробкой в будуарчик.

— О-очень хочу!.. — крикнул он и услышал восторженное: «Ах, безумец!»

Выбрано было — нельзя лучше: сливочное, легкое, как воздух, и без этого надоедного хвоста! В чуть блеклых, травянистых буфах — «живые сливки... сливочное-фисташковое». Такая же и шляпка, с выгнутыми полями, особенной соломки... «Ну, что он только... совсем безумец!..» — слушал он восхищенное «про себя». — «И митенки, и зонтик... ах, безумец!..»

Он остолбенел, когда она выпорхнула из будуарчика, с радостным восклицанием: «Легкое до чего!..»

— Ты совершенно ослепительна... — говорил он, сходя за нею по бархатному ковру лестницы,

любуюсь легкой ее походкой, напевая: «Но царевна всех милее, всех...»

Катили к «Эрмитажу». День был нестерпимо жаркий, удушливый; дворники поливали мостовую, парило от булыжника, томяще пахло спелой малиной от ягодных палаток.

— Сейчас холодненьким освежимся, — не умолкал чем-то возбужденный Виктор Алексеевич.

— Станный ты какой-то сегодня... — сказала Даринька, — совсем другой. И вином пахнет от тебя...

— Шампанским, милая! хватили с адвокатом. Нельзя, сегодня день исторический!.. Почему? Узнаешь.

— Опять сюрприз?

— Всё сюрприз!.. — крикнул он так, что степенный кучер пошевелил затылком.

XXX В ОПЬЯНЕНИИ

Жара-духота, томящий дух малины... — кружило голову. У «Эрмитажа» был сбор всех частей: подкатывали ландо, коляски, парили лошади, блистали каски, квартальные трясли перчаткой; червонили дворцовые ливреи, пестрели треуголки, веяли страусовые перья. Мальчишки совали листки, орали: «Гурко разбил турку!» Расклеивали по улицам депешу штаба: «Генерал Гурко разбил под Ени-Загру дивизию Реуфа-паши, взято 12 пушек».

Неторопливо всходя по мягкой широкой лестнице, Даринька видела в зеркалах простенков «кремовое-фисташковое». Входили в белый колонный зал, в теплом воздухе пряностей, вина, соусов, духов, легкой и тонкой сытости. Пахло дыней, сигарами, шампанским. Обед был в разгаре, дымилось кофе, играли масляные глаза, провожая «воздушное создание», — уловил Виктор Алексеевич хрипучий басок нафабреного генерала в пышных сверх меры эполетах. Зал был набито-полон, — где тут найти местечко. Но местечко было заказано, «придворное», у самого балкона, на площадь, на бульвары, — столик: устроил знакомый метрдотель, за самые пустяки, полсотни, — «день исторический». Шампанское было заморожено, в хрустальной вазе желтели толстые гнутые струки, добившиеся Москвы бананы. Струнный оркестр на хорах ласково кружил томным вальсом «Дунайские волны».

Заказанное место было завидное: в огромное окно веяло с балкона холодочком, — там, в серебряных ведрах, морозились шампанское и рейнвейн, темнели лавры, пестрели цветы с балясин. Служили обедом тонким: бульоном, лососькой, спаржей, «скобелевскими» отбивными, персиками в мадере, пломбиром, ташкентской дыней. Метрдотель, в министерских баках, разливал вино. Кружило блеском эполет, аксельбантов, мундиров, звоном шпорок и ложечек, игрой бокалов. Шампанское, в иголках, освежало.

— Милочка, до дна, день исторический!

— Я плакать буду с шампанского... ты уже опьянел, глаза какие...

— От тебя, царевна, ото всего! Ска-зочная ты...

— У меня кружится.

— Закружись, будет еще чудесней!.. Крещение принимаю нынче... от тебя, через тебя...

— Ви-ктор!.. — вырвалось у ней, в страхе. — Мне страшно... странно как улыбаешься... Уйдем, прошу тебя... у меня голова кружится...

— У меня с утра кружится, царевна!.. — И он протянул к ней бокал.

— Что ты со мной, безумец, де...аешь!..

— Чудесно грассируешь... «де-аешь»!.. впервые слышу твой забытый голос!..

— Про-шу... у меня кружится!..

— Ну, последний... за новый путь наш! хотел бы повидать твою... А-ги-ду...

— А... ги-ду?.. я не понимаю... ты пьяный!!!

— Ту, матушку... дала цветочки...

— Ах, матушка Аглаида!.. — сказала она, светясь, и подняла бокальчик. — Ну, чок!.. — сказала она бойко и осияла взглядом, — За нее... за новый путь наш!..

Это был новый «взрыв», вершина проявления земного в ней.

Виктор Алексеевич был слегка весел, Даринька сияла бледностью. Когда шли залой — не кружились ни лица, ни колонны. Шампанское было бессильно перед чем-то, что ждало в ней: «Вот, сейчас». Она отметила в «записке»: «Было чувство, что сейчас случится что-то... радость?..»

Она сбежала по тонкой лестнице, спешила навстречу радости. У подъезда стояла монашка с книжкой. Место здесь было бойкое, выдалось монашке счастье: не гнали от подъезда, квартальные закусывали в официантской. Сборщица причитала: «Обители Покрова...» Сумочка осталась дома, Даринька сказала: «Дай ей рублик, сколько ты выбросил...» Ее поразило — «обители Покрова...» — ее отныне церкви! Он дал что под руку попало, много. Монашка поклонилась им до земли. Эта встреча напомнила Дариньке купить гостинцев и послать матушке Аглаиде, она хотела сейчас же на Тверскую к Андрееву, но Виктор Алексеевич сказал: «Отложи до завтра, а сейчас...»

XXXI У КОЛЫБЕЛИ

— К Красным воротам! — велел он кучеру. — Зачем?.. а вот узнаешь.

— Опять сюрприз?..

— Ты сюрприз... бесценный!.. И всё — сюрприз!..

Москва кружила. Вызванное встречей у «Эрмитажа», Дариньке вспомнилось Уютово, покой и тишина.

— Завтра все закупим, и скорей, с вечерним! — сказала она твердо, — мне дышать здесь нечем, пойми же!..

— Да, сегодня очень душно... — рассеянно сказал Виктор Алексеевич. — С вечерним?.. Сейчас самое важное...

Она взглянула на него с тревогой. У Красных ворот он велел кучеру остановиться.

— Пройдемся... — сказал он Дариньке.

— Торопиться надо, а ты... куда мы пойдем, что с тобой?..

— Мы пойдем... домой.

— Ви-ктор!.. — воскликнула она, но он молчал.

Новая Басманная в тот час была пуста. Особняки, с садами, с цветниками. На каменных воротах лежали львы. Виктор Алексеевич напевал: «Балконы, львы на воротах...» Они остановились перед сквозной решеткой, чугунной, из винограда, груш и яблок...

— Литое чудо! В морозы все это побелеет, в инее... станет совсем живое. Помню, в Замоскворечье, дом графа Сологуба... Перейдем, оттуда лучше.

Они перешли на другую сторону.

— Нравится, царевна?.. — показал он на белый дом-дворец, в колоннах, за большой с елями лужайкой.

— Старинный... такие я видала... — сказала Даринька, — водила тетя, говорила — «графский». Хочешь купить?.. у нас же есть, Уютово...

— Не продадут. Дом этот заповедный, крепкий... по Высочайшему указу. Купцы миллион бы дали. Нравится тебе?.. Это — колыбель твоя, ты родилась здесь.

— Здесь?!.. — произнесла она недоуменно.

— Под этими елями играла... Видишь, в глубине, такая же решетка... там большой пруд и парк... купальни были... там тебя купали!.. плавали лебеди...

— Лебеди?.. — повторила она, во сне.

— Жаль, закрыто. Старый дворник ушел на богомолье, ключи у соседского, но он не смеет никого пускать. Ну, в другой раз увидишь.

Даринька смотрела на темные в колоннах окна. Родилась здесь?.. Этого она не понимала.

— Ты спокойна, это хорошо.

— Но я не понимаю... ничего не помню... — шептала она растерянно.

— Как ты можешь помнить, отсюда унесли тебя малюткой... два года тебе было.

— Чей же это дом?..

— Твоего отца. Был. Узнаешь все. Теперь, недалеко отсюда, в богадельню...

— В богадельню... зачем?..

— Нет, в богадельню после, а сейчас... Ну вот, плачешь... Все так чудесно!..

Она смотрела за решетку и плакала.

— Я тебе все сказала... ничего не утаила, что... незаконная... всегда за него молюсь... — шептала она, глотая слезы, — если бы он был... хороший!

— Он был хороший, знаю точно. Благородный, добрый...

— Да?!.. хороший?!..

— Твой отец был чистый, и это тебе скажут, кто его знал.

— Чи-стый?!.. — воскликнула она, сложила перед собой руки и поглядела в небо.

— Если бы не злой случай, твоя мать была бы его женой и ты была бы тогда законная. Это точно. Пойдем...

Она стояла, глядела за решетку. Он повторил: «Пойдем». Вернулись к оставленной коляске. Виктор Алексеевич велел: «В Елохово!» Коляска покатила той же улицей. Сошли у церкви.

— Это Богоявления в Елохове. Здесь тебя крестили.

Вечерняя отходила. Храм был обширный — богатый, аристократический приход. Иконы в самоцветах, в винограде золоченом иконостас, тяжелые паникадила...

Даринька взяла свечки, пошла ко храмовому образу, под сенью, стала на колени. Предтеча, в коже, воздевал руки над Христом во Иордане.

В «записке к ближним» Дарья Ивановна писала:

«...Были в храме Богоявления в Елохове, где меня крестили. Не знаменательно ли: моя церковь — Богоявления Господня?!.. В канун Богоявления Господня послано мне было вразумление, когда я, грешная вся, в наваждении соблазна, пролила крещенскую воду. В ночи на Богоявление даровано мне было знамение сна крестного. В утро праздника воспела я в светлом сердце песнь дня того: „Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять“. Вспомнила тогда все в родимом храме, и свет, и трепет. И воспарил дух мой».

На выходе Даринька оглянула притвор и увидела в заломчике чего искала: крестильную купель, накрытую ветхой пеленкой. Просила позвать трапезника или просвирню. Стояла в умиленном ожидании. Пришла старушка, открыла помятую оловянную купель и сказала, что купель старинная, до француза была, батюшка по рухлядным книгам знает. Спросила Дариньку:

— Вас, барышня, тут крестили, у нашего Богоявления? Ну, в самой этой, другой и нет. В самую эту и кунали. А теперь вон красавицы какие! Проживаете уже не здесь теперь?

— Нет, далеко... за Тулу.

Она опустила перед купелью на колени и приложилась к закраинке. Дали просвирне рубль, и та все кланялась им, пока не отъехала коляска.

XXXII ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

— В Куракинскую богадельню! — приказал Виктор Алексеевич. Богадельня была у Красных ворот, и пришлось опять проезжать мимо родного дома.

— Я во сне... — говорила Даринька, — мне трудно дышать, нет воздуха...

— И мне. К грозе.

От духоты, от раскаленного воздуха, от шампанского... он теперь чувствовал разбитость и тревожно следил за Даринькой: верхняя губка ее дрожала, она прикусывала ее. Он взял ее руку и стал говорить, что сейчас увидят почтенного старца, похожего на старинного вельможу, и надо держать себя молодцом.

— Он на руках нашивал тебя. Теперь на покое, ему под девяносто, но еще довольно крепкий. Мы минут на пять, не больше, чтобы ты сама слышала. Все подробности ловкач адвокат вытянул из него марсалай.

— Я не понимаю...

— Сладкое вино. Ловкач привез ему бутылку, это освежило память. Утомлять не будем. На покое здесь.

Подъехали к солидному особняку. Смотритель, отставной военный, сам вел их по коридорам с дорожками на зеркальном полу из камушков. Постучались в ореховую дверь: «Гости к вам, Макарий Силуаныч... разрешите?»

— Можно... — отозвался важно сиплый голос.

Вошли в большую комнату на солнце, в высоких окнах. У окна сидел в кресле крупный старик в оливковом халате, в воротничках, в высоком галстухе, несмотря на удушающую жару; пробритый, в бакенбардах, в серебряных очках, читал газету.

— Милости прошу... — пригласил он мановением руки, взглядываясь из-за газеты. — Кого имею удовольствие?... — произнес он важно-приветливо, — рад вашей визитации... уж извините, не встаю... увы, расплата за виноградное прошлое, хотя наблюдал умеренность.

Они пожали огромную его руку.

— Пра-а-шу... Какому приятному а-казиону обязан вашим извещением, молодые люди?... — спросил «львище», так отметил Виктор Алексеевич. — Прекрасная барышня... — галантно обратился старец к робевшей Дариньке и выправил бакенбарды на плечи, — благоволите поразвлекчься сиими приятными фрухтами, пра-а-шу, полакомьтесь... — указал он на вазу с персиками.

Даринька кивнула, вся в нем. Виктор Алексеевич объяснил: его поверенный получил от почтеннейшего Макария Силуановича все справки, и они явились представиться и поблагодарить.

— Па-а-веренный?... — старался вспомнить старец.

— Вы с ними изволили пробовать марсалу... — повел Виктор Алексеевич «наводкой».

— Ма...рсалу!.. да-да, хе-хе... веселый господин... ах, говорун!.. Лучшее из испанских вин, букет!.. Да-да-да... по полрюмочке, после насыщения... для а-саже[3]. Храню, как... Но нонче душно, очень... атмосфера... — помахал он на себя лапищей.

— Вот, самая та марсала... благоволите... как свидетельство глубочайшего... — говорил Виктор Алексеевич, ставя кулечек в ногах старца, — парочка бутылок, с «паспортом»... сардины французской, высшей марки, ваши любимые, и мармелад от Абрикосова...

— Тронут вниманием... господин полковник, судя по вашим регалиям?..

— Да... коллежский советник, инженер-механик...

— А-а-а-а... — проникновенно протянул старец, — такой молодой, и... Меха-ника... вы-сокая наука!..

— А это моя жена, та самая Дайнька... вы ее когда-то на руках держали, Макарий Силуаныч... помните?..

Даринька взирала благоговейно, как девочка могла бы взирать на митрополита.

— Как-с?.. изволили сказать, на руках?.. — старался понять старец, переводя взгляд на Дариньку.

— Дайнька... все так ее называли ласково во дворце... крошку, всегда в белом, как ангельчик... — наводил Виктор Алексеевич, — эту прекрасную молодую женщину... Тогда она была совсем малютка... дочка покойной Олимпиады Алексеевны, жившей по хозяйству у вашего покойного барина... вы помните?..

Макарий Силуаныч расправил бакенбарды и старался выпрямиться в креслах.

— Благоволите, сударь, извинить, но я обязан заметить вам... не барина, а их сиятельства, князя Феодора Константиновича - поправил он вежливо-внушительно. — Их сиятельство всегда останавливали... когда именовали их по батюшкину титулу бароном. Пра-а-шу запомнить... — погрозил он пальцем: — «Высочайше утвержденным!.. мнением Государственнаго Совета!.. действительному статскому советнику, барону Константину Львовичу дозволено принять фамилию и герб, из рода коих происходит его мать, урожденная и впредь именоваться! Их сиятельства прадеды стояли... Ивана Васильевича Грознаго... у правой руки!.. А пресветлейший... Но не дерзаю, грешный, имя Святителя поминать в приватном разговоре. Их сиятельство были наибогороднейшие, наивысоконравственные... чистоты голубиной... и сердце... князюшки моего...»

Он задохнулся, взял табакерку с эмалевой Екатериной, постучал в нее, защебил щепоть, стряхнул и крепко зарядился. Даринька впивалась в его слова. Губка ее сникла в восторженно-детском умиленье. Старец устремил в нее свой взор и, что-то видя, заерзал в креслах, протянул руку к мутным фотографиям над диваном и тыкал пальцем:

— Ее сиятельство княжна... Ольга Константиновна... — сказал он, недоуменно озираясь, — но она... скончалась?.. — он потер потный лоб. — Очень... атмосфера... — и разинул рот.

Виктору Алексеевичу вспомнилась картина в «Третьяковке» — «Меньшиков в Березове» — «похож, суровостью... крупнее только».

— Так вот, это Дайнька, дочь Липочки, которую их сиятельство выписал из Высоко-Князьего... теперь большая...

— Так-так... да-да... сия благородная барышня?!.. Господи... ее сиятельство княжна... — показал он на Дариньку, хотел привстать и отвалился в креслах, — Ольга Константиновна, живая!..

Он смотрел, покачивая головой.

— Их сиятельство изволили сказать братцу... Я стоял по правую их руку, кушали они: «Будешь уважать!» И объявили свою волю: «Я со-четаваюсь браком с моей кроткой Липочкой... и наша Дайнька... по высо-чай-шему!.. — он погрозился, — будет именоваться „Ее сиятельство княжна Дария Федоровна...“ и ты будешь уважать... за-кон!» — в-за пример с графиней Шереметьевой. Только граф Шереметьев женился на крепостной крестьянке... а наша Липочка была внучка прото-по-па!.. Пращур его сиятельства был наместником в Суздале... и прото-поп!.. тоже с тех мест. А у прото-по-па была...

— Да, и вот она от правнучки того протопопы... — перевел Виктор Алексеевич на Дариньку, — вспомните-ка, почтеннейший Макарий Силуаныч?..

— Так-так... Дайнька... Ну, ка-ак же!.. — просветлел старец и зарядился табачком, — На руках нашивал... за ручку водил в парках... рыбок кормили... Его сиятельство, бывало, скажут: Слоныч... — Они меня Слонычем именовать изволили в приятную минуту... я крупный, а тогда

каким я был... кавалергарда выше!.. — Слоныч, скажут... — ты мне ее не урони, Дайньку... золото мое... И примут с моих рук, под ребрушки... Москву покажут. На ночь приходили к колыбельке, перекрестить... Молодой, на тридцать на первом годочке, на охоте... злой случай... слепая пуля... на номере стояли, за кустом... была облава... В Сретенье Господне, помню...

— Его убило?!.. — вскрикнула Даринька и закрестилась.

— Господня воля. Красавец, принцессы набивались, ирцогини!.. А князенька был мудрый, все науки знал... — он поднял палец, — и благородный аттестации. Говорили: «Женюсь на единственной любви... мне ее Бог вручил».

Даринька упала на колени перед Макарием Силуанычем, сложив перед собой ладони. Шептала вздохом: «Вы все се-рдце... се-рдце...» Излились градом слезы, как у детей. Она схватила руку Макария Силуаныча и поцеловала. Он принял руку и откинулся на креслах.

— Как выросла... как же не узнать-то, кровь... Дозвольте ручку, ваше сиятельство... — прошептал он умиленно, — ручка... великатная какая...

Он поднес к блеклым губам покорную ручку Дариньки, откинулся и закрыл глаза.

— Ду...шно... а-тмо...сфе-ра... — выдохнул он, ощупью взял газету и накрылся.

Они переглянулись. Виктор Алексеевич достал две сотенных, черкнул на карточке два слова: «От Дайнькн» — и положил под персики. Даринька взяла один на память. Тихо отошли к дверям и оглянулись, Макарий Силуанович дремал, газета шевелилась от дыхания. Неслышно вышли.

Поехали. Даринька смотрела в небо. Виктор Алексеевич понял, что говорить не надо.

XXXIII РАЗРЯЖЕНИЕ

Был седьмой час. Солнце висело в мути, как в пожар. Было душно, порой полыхало, как из печи. Малиной пахло гуще. Звонкий всегда мороженщик кричал устало. Сняв шляпы, люди отирали пот, лошади плелись, мальчишки обливались у бассейна, где-то кричали бутотника, но он не шевелился, пил квас у грушника.

Виктор Алексеевич чувствовал смущенье. Теперь, когда все стало ясным, он представил себе острей, чем раньше, что получил Дариньку преступно. Восторг его мутился, он страшился уловить в ее глазах... «Ваше сиятельство»... — да, условность, но это не девочка-золотошвейка, не кинутое всем «безродное», а... присвоенное не по праву, насилием. И тогда, в первые дни их жизни, когда она была оглушена, открыла ему все, что знала, он почти знал, что теперь объявилось так бесспорно.

— Что с тобой? — спросила она заботливо и посмотрела светло, как утром, когда он подавал ей шоколад. Он молчал.

— Ты не рад?..

— Я не найду слов, как счастлив... за тебя... — сказал он с просящим взглядом, не смея

омрачить в ней... — Свет какой в тебе!..

— Ты это осветил во мне... — вымолвила она, взяла его руку и утерла слезы. — Боже мой... Виктор!.. — вырвалось у нее вдруг. — Так она?!..

— О ком ты?.. кто- она?..

— Там, в Уютове... се...стра?!.. в р о д н о м мы?!.. Го-споди... о н а... — и без сил откинулась к подушке.

Видя, как помертвели у ней губы, Виктор Алексеевич крикнул: «Гони!.. барыне дурно!..» Коляска бешено помчалась. Да и было время.

Вдруг стемнело. В небе нависло черным, в огнистой пене. Накатывало гулом, мелькнули стаи голубей, кто-то зловеще крикнул: «Небеса горят!..» На Лубянской площади рвануло вихрем, пылью. Поднимать верх нечего и думать. Виктор Алексеевич сорвал дождевой фартук, старался укрыть Дариньку собой... Шляпу его сорвало, секло в лицо песком, душило. Катились зонтики и шляпы; пригнувшись, разносчики с лотками спасались в подворотни, гремели вывески, звенели стекла, выли голоса... и в удушавшем пекле все еще стлался вязкий дух малины.

Перед Владимирскими воротами чуть не опрокинуло коляску телегой с прыгавшими стопами прессованного сена. На Никольской грохнуло перед коляской вывеску, лошади понесли, кучер орал неистово: «а-ста-а-ай!..» У самого «Славянского Базара» бутושник повис на дышле, кони осели и задрали морды... Выбежали швейцары...

Дариньку внесли на лестницу, нащупывая во тьме ступени. Ламповщики засвечали лампы, зажигали газ в несрочном мраке: был седьмой час в исходе. Вдруг ослепило-грохнуло, задребезжали-зазвенели стекла, застучало градом. Гуляло-завывало ветром, мотались шторы, звонили колокольчики, с грохотом падала посуда, откуда-то вопили: «Доктора!..»

Дариньку положили в комнату, выходящую во внутренний цветник с фонтаном. Здесь было тихо. Окна были раскрыты, веяло свежестью. Невиданный град, «с яйцо», перебив все окна, сменился ливнем.

То был памятный ураган, отмеченный летописцами, срезавший сотню десятин векового бора в Погонно-Лосином Острове, натворивший немало бед.

Виктор Алексеевич почувствовал в этом урагане н е ч т о. Как в Уютове он научался слышать «симфонию великого оркестра», так в Москве ему как будто приоткрылось, что этот стройный оркестр «срывается» и в этом «срыве» слышится возмущение, угроза... словом, какой-то непорядок, разлад. Впервые почувствовалась ему «природа» как живое нечто... — мистическое, конечно, ощущение! — подверженное, как все, недугу... После он называл — г р е х у. Это «живое нечто» зависело от какой-то непреложной... Воли?.. Этому чувству он нашел утверждение у вдохновенного поэта: «Не то, что мните вы, природа...» Это «живое нечто», прекрасное и порой страшное, его «духовная» связанность с человеком, было ведомо Дариньке, и с этого урагана стала ему особенно понятна тонкость ее душевных восприятий, чувствование ею с т и х и й н о с т и: великих снегопадов, ливней, наводнений, гроз... — того, что завлекает душу вне-земным, уносит — «з а». Он отмечал, что с этого урагана «мир для него расширился и углубился».

Доктора не могли дозваться. Даринька скоро пришла в себя.

— Хорошо как, свежестью... — сказала она, вдыхая полной грудью, — это дождь шумит?..

Попросила пить. Он дал ей коньяку со льдом, стал на колени, где она лежала. Она сказала:

— Сколько тебе со мной заботы... поцелуй меня... — и поглядела так открыто, светло, что он не вынес переполненного сердца, отошел к окну, ткнулся лицом в портьеру и стиснул зубы...

— Куда же ты ушел?..

— Я с тобой... — сказал он от окна и подошел к ней.

— Почему ты плачешь?..

— От... незаслуженного счастья... — сказал он, овладев волнением. — Жизнь... какое чудо!..

XXXIV СВЕТ ИЗ ТЬМЫ

Эта поездка в Москву стала событием в их жизни.

Справки адвоката и узнанное от бывшего дворецкого раскрыли, что слышанное Даринькой о детстве дошло до нее в искаженном виде. Расспрашивая теперь, Виктор Алексеевич узнал, что тетка никогда не говорила с ней о матери, и все, что она знала, дошло до нее по слухам. На богомолье разговорится тетка с попутчицей, как хорошо жилось ей в богатой вотчине... и пошепчет: «Девочка-то со мной... графской крови!..» Из таких слухов и сложилось у Дариньки «все это темное». И вот справки адвоката пролили настоящий свет.

Адвокат взялся за дело горячо. Получив от доверителя лишь общее и скудное, он решил, что идет дело о наследстве. Его утвердила в этом приписка в письме: «Не считайтесь с расходами, тут дело об огромном», — трижды подчеркнуто! Он кое-что слышал о знаменитом роде. Слышал о наложении опеки на барона по Высочайшему повелению, в сбережение чести имени. Был и немного романтик, и его захватила «таинственная история». Разыскал пятерых очевидцев, послал помощника в Высоко-Княжье, вытянул нить клубка, и ринулся отыскивать «сокровище», — «ниточка» у него имелась: бывший дворецкий слышал, как князь говорил Липочке: «Дайнька обеспечена, вся опеленута билетами, как и ты». Были подняты все книги, благодаря щедрым дачам, в Дворянской опеке, в Сохранной казне, в Опекунском совете, в банке... и открыли собственноручную запись князя, законно засвидетельствованную, от 19 марта 1859 г., как раз день Ангела Дайньки, о вкладе процентными билетами, в сумме 20 тыс. руб. на серебро, на имя родившейся 7 сего марта Дарий Ивановны Королевой, неприкосновенном до выхода ее замуж или до достижения 18 лет. «А в случае, от чего Бог избави, ее кончины до сих сроков, вклад сей, с процентами, наросшими, согл. ст. ст. об управл. вкладами, имеет быть перечислен в стипендиальный фонд Императорского Московского Университета». Того же дня было внесено столько же на имя девицы Олимпиады Алексеевны Преполовенской, 18 л., дочери ныне покойного диакона церкви с. Высоко-Княжье, Сузд. у. Владим. губ., - с той же оговоркой. Не миллионы, но все же нечто, так как за почти 20 лет доросло до свыше 120 тыс. руб. сrb. Дело простое, было из-за чего работать.

Поздно вечером ураганного дня, по настоянию Дариньки, Виктор Алексеевич прочел ей справку адвоката. Даринька слушала с закрытыми глазами. Взятый на память персик был у нее в руках. И вот что выяснилось.

В Высоко-Княжьем проживала на положении ключницы старая дева Капитолина Неаполитанская. Ежедень бывала у ней двоюродная сестра Липочка, лет 16, пригожая, кроткая, тонюшенькая, как былиночка, большая начетчица, читала Капитолине из Житий. А жила та Липочка рядом, в церковном доме, у просвирни, платила за нее Капитолина 2 рубля в месяц, хоть и при себе бы могла держать, занимала в княжьем доме три комнаты. Липочка сиротой осталась, в холерный год померли у ней родители, ездили хоронить дедушку-протопопа и не воротились. Дьяконова дочка была. Капитолина к себе ее не взяла жить, остерегалась. Как-то приехал князь на охоту, она ее задами вывела. Наезжал князь только для охоты, осенью, а то зимой. И вот как-то приехал по пороше и застал Липочку у Капитолины. Кто такая, красавица? Такая-то. Чего она в черном? Родители померли. Липочка при нем заплакала. Он вынул платочек, сам ей слезки утер. И велел тут же в дом перебираться, чего ей у просвирни жаться! Капитолина не посмела прекословить. Пробыл тогда не две недели, а до Филиповок. Молодой, веселый, красавец, годов 26. И все, бывало, насвистывал. А то на фортепьянах, вот играет-играет! Придет к Капитолине: «Чего вы тут молчите, в ералаш давайте играть». Стали примечать — антересуется Липочкой. Повел ее, где шкапы у него с книжками, — «читай, Липочка, чего хочешь». Капитолина темней ночи стала, а Липочка канарейкой заливаётся, барина никак не боится, уже приручилась. Стал он отъезжать,

мороз был, а Липочка выбегла на крыльцо, без шубки да при людях-то в слезы! Барин ей поморгал, ласково погрозился, как на дитю, и крикнул Капитолине: «Дом оберегайте и кто в дому!» «Капитолина бранить Липочку, — „голову ты с меня сняла, безумица!“ — рассказывала адвокату проживавшая в Набилковской богадельне старушка, прачкой в Князьем тогда была. — Липочка речкой изливается, извелась. И вот, на третий день Рождества, колоколец забрякал, только светать стало. Кого это Бог дает? Сам Макарий Силуаныч в гости, в крытом возке, со стеклышками, с фалетором. Важный, на седьмой десяток уж ему было, — что за оказия-экстренность? А с ним шубочка соболья-бархатная, пуховые платки, лисьи сапожки. И всем знато: главный при барине, задушевный. Письмо Капитолине: „Снарядить Липочку в Москву, учиться будет, нечего ей делать в глухомани“. Липочка в ладошки, прыг-прыг, а Капитолипа в рев: не пуцу и не пуцу! На нее Силуаныч пальцем: „Как же, спросили тебя, не мать родная“. И спрашивает Липочку: „Желаете в Москву, барин опекать вас будет?“ А она: „Еду-еду, а то и так убегу!“ Часу не прошло — помчались-заиграли.

А через годок она и Капитолину выписала, и меня, грешную... — сказывала старушка, — песенки ей певала и сказки сказывала. Я, говорит, в няни тебя беру, скоро у меня детка сродится, Федя на мне поженится, на образ покрестился.

Капитолину на квартиру поставили, неподалечку, Богу пусть молится. Хаживала она и в дом, чайком поил ее Силуаныч, а она ему из Житий вычитывала. Дочка у Липочки родилась, души в ней не чаял барин, к годочку уж лепетать стала. Спросят ее: „Как тебя звать?“ — „Дайнька“, губенки так выставит.

А княгиня-мамаша все противилась, гордая такая, не желала ихнего брака. Да князь сказал — уломаю, а то и без согласия поженимся.

Два годика пролетело, как день светлый. И стал на ихнюю половину младший братец Князев частить. Самондравный, гордый... — рассказывала старушка, — в офицерах служил. И такой был игрок-картежник, все свои деньги попрокидал. Как-то и прихвати Липочку под спинку... Силуаныч его застал: Липочка при нем охальника по щеке, затопала на него. Барина дома не было. Приехал, вызвал братца — за ворот и рванул. Ну, тот прощенья просил. Умягчился барин, велел у Липочки прощенья просить. И вот, кушали как-то вместе. Барин и объявили: „На Красной Горке женюсь на Липочке, будешь уважать!“ А Липочку учительши обучали, как листократы чтобы была. Тут и мамаша согласилась, пондравилась и ей Липочка: „Не ожидала, какие у ней манеры великатныя!“ А уж мы-то радовались как...

Потом — „злой случай“ на облаве. Как громом сразило Липочку.

А недели через три пришел лакеишка от младшаго барина: выбирайтесь. Липочка взяла Дайньку, в шубочку завернула, к Капитолине пошла. Безо всего вышла, лакеишка и укладки на ключ замкнул. Силуаныч как ахал, а чего может... — наследник велит. Мамаше отписал. Образа ихние сам отнес, игрушечки, бельецо. А меня в судомойки определили.

Великим постом приехала мамаша, была у Липочки, подарила Дайньке сто рублей, а на другой день и воз с сундуками пригнала. Увидала Липочка: „Не приму!“ Капитолина как ее просила... „Нет Феде моего, а эту мне пыль не надо!“ И поехали сундуки. Совсем она голову потеряла, бегала по морозу в одном платьице. Соседи видали: под колодцем бельецо Дайнькино полоскала, а кругом намерзло, осклизнулась она на льдышках, упала, так на льдышках и разрешилась — скинула... по шестому месяцу, мальчик был... Подняли ее без памяти, свезли в Басманную больницу, она через недельку Богу душу и отдала.

Капитолина осталась с Дайнькой. Помогал им, чем мог, Макарий Силуаныч. А скоро его княгиня-баронесса в хорошую богадельню поместила. На Калитниковском Липочку похоронили. Прошло годков пять, пошла Капитолина с Даринькой на богомолье, воротилась — а на могилке и крестика нет. Продала Липочкино колечко, купила крестик, и решеточку поставили...»

Вот что мог дознать адвокат.

XXXV ПРЕОДОЛЕНИЕ

Слушая справку адвоката, Даринька лежала, сомкнув глаза, и Виктору Алексеевичу казалось, что она приняла смиренно все.

Ночью он услышал из комнаты, где спала Даринька, подавленные всхлипы. Он вошел и увидел на ковре, под образом, белую Дариньку. Она лежала «комочком», вздрагивая, и из этого «комочка» вырывались толчками всхлипы. В этих зажатых всхлипах слышались отчаяние, безнадежность, бессильная жалоба, дрожащее, детское «Ма-а-а...». Он стиснул зубы, чтобы не закричать от боли...

Он поднял ее, без чувств, с повисшими руками, и отнес на постель. Вzbудили врача. Тот удивился, какой продолжительный обморок. К утру Даринька пришла в себя. Доктор сказал, что такое бывает у детей, — «младенческая». И удивил Виктора Алексеевича, высказав, что, по-видимому, больная живет очень напряженной внутренней жизнью, не облегчает себя высказываньем, и оттого-то и обморок, как разряд. Этот молодой врач, невропатолог, впоследствии приобрел известность своей книгой «Душевно-духовные силы». Лечение ограничил покоем и переменной обстановки.

В Москве пришлось задержаться, прием в Уютове был отложен. На другой день Даринька чувствовала себя вполне здоровой и заявила, что надо повидать старушку-няню, поехать на могилу матери, на тетину могилу и непременно в Высоко-Княжье, где похоронен отец. Виктор Алексеевич ужаснулся: «Все могилы!» Доктор посоветовал не заграждать выхода душевным проявлениям:

— Ваша жена знает лучше нас, что ей нужно для душевного здоровья. Очень она религиозна? Тогда предоставьте ей полную свободу, вот ее лечение.

Через два дня они поехали в Набилковскую богадельню, видели старушку, одарили. Мало узнали нового. Приезжала к Капитолине сестра покойного барина Ольга Константиновна, просила отдать ей Дайньку. Капитолина отказала: покойная Липочка просила ее — никому Дайньку не отдавать. И денег не приняла, так ожесточилась. Но деньги откуда-то приходили, помалости. Квартирку переменила, кормилась вышиваньем приданого. В Страстном была у ней землячка-монахиня, давала ей заказы от знакомых. Капитолина, говорили, померла вдруг, от сердца. Хоронили монашки, на Даниловском. Сиротку тоже монашки устроили, в золотошвейную мастерскую, а ей тогда годков 12 было.

Даринька узнала старушку: захаживала она к тетке. Подняла вуальку и сказала:

— Анисьюшка, я Дайнька и есть... не узнаете?..

Сошлись богаделки, пришла смотрительша. Даринька дала ей денег устроить для призреваемых поминовенный обед и заказала заупокойную обедню в ихней церкви. Старушке дала сто рублей и обещала скоро ей написать.

Даринька была совсем спокойна, и Виктор Алексеевич признал правду в словах доктора. Не раз вспоминал, как доктор коснулся Даринькина «т а м... т а м»:

— Мы с вами живем в трехмерном, ваша юная подруга — в безмерном. Делайте вывод, если вы даже и неверующий. Т о т мир — пусть мнимый для вас! — безмерно богат... хотя бы творчеством человеческого духа: сказаниями, подвигами, деяниями тысячелетий, создателями религий. Этот, реальный, — нищий перед т е м. Ваша жена живет в обоих и — разрывается. Отсюда могут быть «провалы сознания», обмороки... своего рода отрыв от нашей сферы. И, может быть, — п р о р ы в т у д а... Все, что приближает ее к т о м у миру, будет ее лекарством.

Из богадельни поехали на Калитниковское, за Покровскую заставу. Кладбище было старинное, в высоких деревьях, Даринька плохо помнила, где могилка: «Где-то в углу». В конторе долго листали книги — и сторожа не помнили, — нашли, наконец, от 8 марта 1860: «Преполовенская, Олимпиада, 20 л., 27 разр., близ Онучкиных, юж. ст., к углу». Была приписка: «Посл. раз навещена в 69 г., летом, вписана в кн. „нарушаемых“».

Виктор Алексеевич спросил, что такое — «нарушаемых». Конторщик сказал уклончиво: «Десять годков не навещали- можно похерить». Виктор Алексеевич возмутился: сейчас же отметить, что «навещали»! Грозил жалобой, изругал конторщика — «мертвых грабите!». Никогда с ним такого не бывало. Даринька, поняв, пришла в ужас: «Дай им скорей, скорей!..» И вдруг гневно, властно закричала:

— Не смей!. бездушные люди!.. — и, вся загоревшись, погрозилась. Виктор Алексеевич, пораженный ее гневом, крикнул;

— Цела могила?..

Конторщик, бледный, бормотал невнятно: «Полагаю-с...» — «Завтра все полетите к черту!..» При этих криках пришел священник. Бесчинства не одобрял: сколько раз жаловались, плакали...

Долго искали в глубине кладбища. Нашли, где уже и тропок не было. Решетка была повалена на заросший бурьяном бугорок, креста не было,

— Цела-с!.. — сказал конторщик, — вот и Онучкины, старьевщики. Даринька припала к бугорку, в бурьяне. Батюшка просил успокоиться, вернуть себе мир душевный, он подождет:

— Крестик поставите, опять светлая могилка будет... помолимся и простим согрешения, и сойдет мир на вас.

Виктор Алексеевич приказал сторожу все привести в порядок, батюшку просил прийти попозже. Кладбищенские рабочие все сделали скоро и хорошо: оправали и одерннули могилку, вкопали новый крест, установили на камнях решетку, посадили цветы, посыпали песочком, и маляр тут же приделал надписание.

Батюшка пришел с двумя дьячками, умилился, как преобразилось. Служил очень благолепно. Радостно изумило Дариньку; после «со святыми упокой» прочитал из Евангелия: «...грядет час в он же вси сушие во гробах услышат глас Сына Божия...» А в заключение службы — из Ап. Павла к римлянам: «...и потому, живем ли, или умираем... — обратил лицо к Дариньке: — В с е г д а Господни». Был светлый и жаркий день. От политого дерна парило. Благословив могилку, сказал батюшка, проникновенно:

— Не в скорби, а в радости — жизнь. Почтя полезным, я прочитал из Евангелия и Апостола, да укрепитесь. Смотрите, какой свет! — обвел он Евангелием над могилкой и — к небу.

Даринька была утешена. Шла с батюшкой впереди, он что-то говорил ей. Виктор Алексеевич узнал от дьячков, что батюшка очень почитаем, академик. Понял, что умирить надо, потому и читал от Евангелия и Апостола, хотя сие на панихиде и не положено. Все жалеют его: на сих днях уезжает на Валаам, в монашество. Давно овдовел, а этой весной скончался от чахотки единственный его сын, оканчивал обучение в академии.

— В мире, в мире... — сказал батюшка, прощаясь, — храните свет в вас и другим светите.

— Какой он проникновенный, — сказала Даринька, — все умирил во мне, будто все мои скорби знает. На Даниловское кладбище, — велела она кучеру. — А завтра к отцу.

Виктор Алексеевич пробовал возражать: нельзя так утомляться.

— Не утомляться, а успокоиться, — сказала она. — Как хорошо, что мы сегодня поехали, он завтра служит последнюю литургию здесь, едет на Валаам. Одно его слово все во мне просветило...

— Какое же слово?

— После, не здесь.

Даринька не помнила, где могила, не знала и теткиной фамилии. Виктор Алексеевич знал из справки: Капитолина Неаполитанская. Искали по книгам; под 68-70-м годами: Дариньке помнилось, что хоронили летом, — купили ей монашки для утешения красной смородины. Старичок конторский подумал... «Смородина в июне поспекает». Нашли, в июне, «Неаполитанская Капитолина...» — по смородинке и нашли. Цел был и крест, и надписание. Отслужили панихиду и оставили денег — посадить цветы и держать все в порядке.

Чтобы развеять «кладбищенское», Виктор Алексеевич уговорил Дариньку пообедать на воздухе где-нибудь: шел третий час, с утра ничего не ела. Самое лучшее- у Крынкина, на Воробьевке.

XXXVI ПОБЕЖДАЮЩАЯ

От Крынкина открывалась вся Москва: трактир стоял на краю обрыва. После обеда прошли в березовую рощу. День был будний, гулявших не встречалось. Тишина рощи напомнила Дариньке Уютово.

— Столько там дела, о многом подумать надо...

— О чем тебе думать!.. — сказал Виктор Алексеевич.

— Как — о чем?.. Сколько ты говорил про жизнь — надо решить, обдумать. И мне надо.

Он согласился, дивясь, как она помудрела, какие у ней теперь новые, думающие глаза.

Они услышали в глубине рощи протяжный, резкий выкрик и за ним чистые переливы, будто флейта.

— Иволга... — сказала Даринька, — будто водичка переливается. Еще с богомолий помню, иволга дольше всех поет, последнюю песенку допевает лету...

— Да... — вспомнил он, — какое «одно слово» священника?..

— Я это и раньше знала, но никогда так не разумела. Нельзя убиваться, что могила чуть не пропала, у Господа ничего не пропадает, все вечно, есть! Даже прах, персть... все в призоре у Господа. Для земных глаз пропадает, а у Бога ничего не забыто. Как это верно! Даже я все храню в себе, что видела, все ж и в о е во мне!.. Помню, маленькая совсем была, увидела в садике первые грибки-шампиньоны... и вот сейчас их вижу, даже соринки вижу... А для Господа все живет, для Него нет ни дней, ни годов, а все — в с е г д а. И в Писании есть... «Времени уже не будет, и тогда все откроется».

— Как ты душевно выросла! — сказал он.

— Господь всегда в творении, в промышленности обо всем, что для нас пропадает... — до пылинки, до огонечка в темном, далеком поле... «до одинокаго огонечка, который угасает в темном поле...» — говорил батюшка.

— У него умер единственный сын, погас его «огонечек»... — сказал Виктор Алексеевич.

— Вот почему... про огонечек... Еще сказал... «скорбями себя томите, а надо отойти от себя и пойти к другим». Я знала это. Но надо это всем сердцем. И еще сказал... — «пойдите к другим, пожалейте других, и ваши скорби сольются с ихними и обратятся даже в радость, что облегчили других. Вдумайтесь в слова Христа: „да отвержется себе“, и вам раскроется смысл Его слова» «иго Мое благо, и бремя Мое легко». Так никто еще мне не говорил. И спросил, есть ли у меня дети...

Они услышали шорох над собой и детский голосок: «Возьми на лучки..!» — и тут же притворно-строгий окрик; «махонький ты... „на лучки“! жених скоро, а все... у-у, сладкий ты мой...» И они услышали чмокание.

Из березняка за ними вышла молодая баба с мальчиком на руках. Баба была веселая, пригожая, мальчик- здоровенький. Баба ему сказала: «Посмеются господа на нашего Гаврилку... скоро парень уж, а все — „на лучки...“!» Даринька дала мальчику конфетку, залюбовалась им.

— В отца, широконойкой... Тятеньке насбирали, в сметанке сейчас пожарим.

Полна кошелка была грибов. Дариньке захотелось жареных грибов в сметане, — у Крынкина ничего не ела, — не продаст ли немножко? Баба от денег отказалась, отсыпала ворошок и присоветовала обочинкой пройти, грибов много, к войне. Когда она ушла, Виктор Алексеевич спросил:

— Говорила, — про детей батюшка спросил?..

— Да. Сказал, что брак без детей... нету в нем чистоты...

Пошли опушкой, и стали попадаться грибы.

— Белый нашла!.. смотри, как стоит, найдешь?.. Он подошел и по ее взгляду нашел белый.

— Да, он глубокое высказал... о страдании... — сказал Виктор Алексеевич. — Это и психологически совершенно верно: раствориться в других...

— Сердцем надо это принять... — сказала она, и он увидел, как она тревожно-пытливо смотрит.

Он почувствовал, как ей важно, чтобы он понял все, что она думает о нем, боится за него.

— Научи же меня!.. — воскликнул невольно он. — Ты понимаешь больше, чем сказала... ты можешь сердцем, а я...

— Я не умею научить... — и на лице ее выразилась растерянность. — У тебя есть сердце, ты много знаешь... и поймешь все, что во мне... больше!..

Он увидел новое в ней, — оживленность мыслью в глазах, будто она в полете, в чем-то... Взял ее руку и прикрыл ею себе глаза.

— С тобой я все пойму!.. — шептал он, слыша, как ее пальцы ласкают его глаза. И почему-то вспомнил сказанное отцом Варнавой: «Побеждающая». — Ах, какая сила в тебе!..

И раньше говорил он так, в порывах страсти; но теперь он открывал в тех же почти словах новый, более глубокий смысл.

Был вечер, когда они вышли на дорогу и сели на бугорке, откуда открывался вид на Москву. За рекой огненно садилось солнце: пламенная была Москва, пламенная была река. Пламенела глинистая дорога по обрыву. Под розовыми березами стояла их коляска.

— Румяные березы, праздничные... — сказала Даринька. В светлом порыве, она посмотрела в небо.

— Хорошо, что поехали сегодня... мне теперь так легко!.. — говорила она небу, ему, себе.

XXXVII ПОСТИЖЕНИЕ

С этим днем связывал Виктор Алексеевич расцвет Даринькиных душевных сил.

В тот же вечер, уснув на диванчике после томительного дня, она проснулась перед полночью с радостным восклицанием:

— Сколько чудесного... т а м!..

Он дремал рядом в кресле. Взглянул на нее, на раскрытые радостно глаза, в которых сиял свет золотистого абажура лампы, и увидел новую красоту ее, — не юную, а глубоко женственную, сильную красоту, и его осенило мыслью: «Вот то, влекущее, чего ищут все, вечное-женственное, пышная красота творящего начала». После определил вернее: закрепил в своем дневнике: «... Не „высшая красота творящего начала“, это словесно-мутно. То был явленный мне в Дариньке образ чистоты в женщине, женственное начало в творческом. Эта чистота излучала теплоту-силу, как бы основу жизни, и в этой теплоте были — нежность, ласка, милосердие, вся глубина любви... все, что чарует нас в матери, сестре, невесте... — все очарования, данные в удел женщине, без чего жизнь не может б ы т ь... В тот памятный вечер во мне родилось постижение величайшего из всех образов: Дева — Жена- Приснодева. Культ Девы в мифах, у поэтов, художников, святых, в народах, живущих душевной подоплекой, у нас особенно задушевно и уповающе. Этот культ порожден неиссякающе-властным чувством искания совершеннейшего, ж и в о т в о р я щ е г о».

— Где — там?.. — спросил Виктор Алексеевич. — Ты сейчас радостно воскликнула: «Сколько чудесного... там!»

— Да-ааа!.. — напевно воскликнула она, — я видела у нас, в Уюто-ве... Забыла... Ах, да!.. помню — все чистое, прозрачное... Вдруг поняла, во сне... — вот- святое! И мне стало ясно... все. Что же я видела?.. Забыла... такое чудесное забыла...

По ее лицу видел он, как она старается припомнить.

— Видишь... Но это чу-точку только, мреется чуть-чуть-чуть...

Она сложила ладони и возвела глаза — молилась словно.

— Видишь... — зашептала она, как будто боясь спугнуть вспомнившееся из сна, — я видела все вещи у нас в Уютове... и дом, и елки, и цветы... камушки даже помню и колодец... но все совсем другое! Подумала я... — вот — святое, чистое творение Господне... Этого нельзя рассказать. Ж и в о е!.. Струится, льется... в елках даже зеленое струится, и все видно, будто прозрачное... вот как через пальцы смотреть на солнце... духи вот в стеклянных уточках продают, в олениках... Я всегда любила смотреть, всегда мечтала, вот бы тетя купила мне... и теперь люблю... Такая чистота... щуриться надо, а то спит. И в самую минутку, как мне проснуться, подумалось, во сне: вот это без г р е х а, и надо, чтобы все было чистое, тогда все будет. Не думала ни о чем, когда задремывала, и вот т а к о е... — сказала она, дивясь. — А теперь думаю.

— Что же ты думаешь?

— Думаю... — говорила она мечтательно, — это не жизнь, как все живем. Надо совсем другое...

— Что же другое?

— Как это верно, как чудесно!.. — воскликнула она, всплеснув руками. — Так понятно открылось мне, а во сне будто и ответилось, какая должна быть жизнь. Такая красота... снилось-то! все живое, и все струится! А это... — огляделась она, — мутное, темное... неживое. Нет!.. — страстно воскликнула она и так мотнула головой, что лежавшие на батистовой кофточке каштановые ее косы разметались. — Подумать только, какие простые слова, как надо: «Да отвернется себе и возьмет крест свой и по Мне грядет!»! Тут все как надо. Каждому дан крест и указано, что надо: не с т и, идти за Ним. И тогда все легко, всем. И это совсем просто. А думают, что жизнь... чтобы ему было хорошо. И я так думала, маленькая когда... А потом стала всего бояться... Ведь я... — в глазах ее выразился ужас, — тогда... Я сказала тебе не все. самого страшного и не сказала... и самого...

Он перебил ее, чего-то страшась, может быть, позорного для нее:

— Не все?!.. самого страшного... и?.. Ты сказала еще — «и самого...» что же еще было, чего ты не сказала?.. — «и самого»?..

— ...чудесного!.. — досказала она чуть слышно.

XXXVIII ЧУДЕСНОЕ

Она прикрыла глаза, как будто свет от лампы мешал ей видеть то — «самое страшное и самое чудесное». Ее губы сжались и покривились, словно она выпила горького чего-то.

— Слушай... Дай мне руку... мне легче так. В ту ночь... помнишь?.., до нашей встречи на бульваре?.. Я побежала к Москве-реке и все молилась, рекой ревела: «Ма-менька, спаси... маменька, возьми меня!..» Добежала до Каменного моста. А река темная-темная, чуть серая... шорохом так шумела. Тогда ведь лед шел, самое водополье, в воскресенье на масленице... нет, что я путаю... Вербное было воскресенье! взбежала на мост, перегнулась за решетку... и мне совсем не страшно... так и уплыву со льдинками куда-то... все страшное кончится. И уже свешиваться стала, сползать, туда... и — вдруг... ч т о-т о схватило меня сзади, под поясицу, как обожгло!.. н я услышала строгий окрик: «Глупая-несчастная!.. ты что это, а?!..» И оторвало меня, откинуло будто от решетки. Со страху я обмерла, вся трясусь... А это старичок бутошник... топают на меня и грозится пальцем... строго-строго! Как раз под фонарем было, где выступ, круглый-каменный, бык там у моста. Увидала его лицо... и прямо ужас!.. Будто это не бутошник, а сам Никола-Угодник!.. ну, совсем такой лик, как на иконах пишут... темный, худой, борода седенькая, а глаза и строгие, и милостивые. Топают на меня и все грозится... и бранится даже, как вот отчитывает: «Ах, ты, самондравка-самоуправка, надумала чего!.. сейчас же ступай к своему месту!.. а, беспризорная несчастная!..» Взял меня за руку и довел до Пречистенского бульвара, тихонько так в спину толкнул: «Так прямо и ступай, не оглядывайся... я послежу, завтра сам приду справиться!..» А мне идти-то и некуда... И сказать-то ему страшусь. Я и побежала, все прямо, прямо... не помню, как уж я три бульвара пробежала... упала на лавочку, дыханья уж у меня не стало. Смотрю, а это наш Страстной монастырь!.. — помню, часы пробили три раза. А я все думала за тот вечер: зайду, помолюсь в последний разок... и не зашла, со страху. И тут, на лавочке, думала: отопрут к утрени врата, зайду помолюсь... а дальше чего, я уж не думала, А тут ты и подошел. Я з н а ю, это Святитель Николай-Угодник от гибели меня спас... того старичка-бутошника послал, глухую ночью. Ни души не было, как раз строгая ночь, на святой и Великий понедельник. С того часу сколько раз думала я... может быть, Николай-Угодник и послал тебя?.. И страшилась недостойности моего. Помнишь, т о г д а... на величании под Николин день, у меня помутилось в голове, едва поднялась на солею благословиться у матушки Руфины уйти из храма: по немощи?.. Это от великого страха помутилось, что о тебе мечталось, а уста пели хваление ему в рассеянии сердца... а он оградил меня!.. Знаешь... сколько раз я потом ходила к Каменному мосту, когда уж у тебя жила, все хотела того старичка-бутошника увидеть... так и не увидала. Видишь, сказал-то он, — «самондравка-самоуправка»?.. Это — что я свой крест-то швырнуть хотела! Уж так мне ясно

теперь, все теперь просветилось, и мне хорошо, легко. Теперь я знаю, что надо... и теперь вижу, какая должна быть жизнь... и так и буду!..

Она выговорила последние слова с силой, почти с восторгом. Виктор Алексеевич, потрясенный ее живым рассказом, целовал ей руки и говорил: «Чистая моя... мудрая...»

В тот поздний вечер он понял, что она «победила» его, владеет им. Через этот рассказ ему почти открылось — сердцу его открылось, — что его жизнь предначертание связана с ней, до конца. Этот жуткий ее рассказ приводил в стройное все «случайное» в эти последние два года его жизни. Надо же было т а к случиться!..

Возбуждение Дариньки от рассказа о «страшном и чудесном» сменилось слабостью. Она попросила едва слышно дать ей вина. Он налил ей шампанского, все эти дни подкреплявшего ее силы, по совету врача. Она на этот раз выпила весь бокал. Он держал бокал, а она пригубливала глоточками и любовалась струившимися иголочками, игравшими в шепчущем шампанском.

— Вот совсем такое, струйчатое, живое... видела я во сне... — говорила она, любуясь, и неожиданно засмеялась, вспомнив: «Шампанское с сахаром», смешную акушерку — смешную в страшном.

Удивленный неожиданным ее смехом, узнав, почему она смеется, он вспомнил тот «страх», подползавший к Дариньке в жутко-туманном облике, на мохнатых лапах, и чудесное избавление ее от смерти. Он вновь пережил тот страх, то чудесное избавление от смерти... — пережил, кажется, острее, чем тогда. Теперь ему стало совершенно ясно, что это было ч у д о, и почему было это чудо, и почему было даровано им обоим. Записал в дневнике:

«... Конечно, не ради нашего „счастья“: такое маленькое оно в сравнении с этим даром. Все, что свершилось, было закономерно, с прикровенно-глубоким смыслом. Для чего же? Она знает и верит, что для большего, важнейшего. И она права: только с этим, важнейшим, ч е м — т о, соизмеримо все».

То, что вписал он в дневник, уже ясно было ему в тот самый вечер, к концу ее рассказа. Он мысленно увидал бесспорность такого вывода и понимал — тогда же, — что эта бесспорность была не плодом доводов рассудка, а ими обоими выстраданной правдой. В самый тот час, когда, мартовской ночью, во всем отчаявшись, решил он покончить с «обманом жизни» и видел исход в «кристаллике»... — запуганная и загнанная неправдой этой жизни, одинокая девушка-ребенок, тоже во всем отчаявшись, увидела исход в кипящем ледоходе. «Если не э т о в с е, что же тогда мог бы признать я чудом?!..»- спросил он себя. И ответил себе, как бы наитием: «Она разгадала все, иной разгадки и быть не может». И воскликнул, как бы осязая веру:

— Ты права! Только так — все осмыслено, оправдано!..

— Что — все?.. — спросила она, смотря на игру в бокале.

— В с е... — обвел он вокруг рукой, — и наше личное, и все, в с е... самое простое и самое чудесное!..

— Хочу спать... — услышал он дремотный голос и увидал, что глаза ее сомкнулись, бокал выскользнул из ее руки и катится с диванчика на ковер.

Поднял его и поцеловал. Привернул лампу и тихо пошел к себе.

XXXIX МИКОЛА-СТРОГОЙ

Виктор Алексеевич не ожидал, что рассказ Дариньки о случившемся с нею ночью на Каменном

мосту так его оглушит.

Захваченный ее горячей верой, отдавшись чувству, он принял это «почти как чудо». Но когда у себя стал проверять его доводами рассудка, показалось ему чудовищным это «чудо с бутошником». Бутошник и Угодник никак в нем не совмещались. Несомненно, что все это — галлюцинация девочки, запуганной ужасами жизни, болезненный след рассказов богомолков про чудеса. Его стало смущать, что начинает прислушиваться в себе к голосу чуждого ему «мистического инстинкта».

С тем он и проснулся утром: «Бутошник, страшно похожий на Николая-Угодника... что за вздор!»

Об Угоднике он знал смутно, едва ли бы отличил его от других святых. И вот этот Угодник, про которого знает огромное большинство народа, — а это Виктор Алексеевич часто слышал — почему-то теперь тревожил его, вызывая чувство раздражающей досады. Разбираясь в себе, он старался понять, почему в нем такое болезненное недовольство. Весь русский народ, как и другие народы, особенно почитают этого святого, а мореплаватели — совершенно исключительно, на всех кораблях его иконы, приходилось читать. В каждом русском городе есть хоть одна «никольская» церковь; в детском мире этот Никола — вспоминались рассказы в детстве- старичок в шлычке, с мешком игрушек и с розгами... А он ровно ничего о нем не знает. Было же что-то в этом святом, почему многие века помнится и почитается в целом свете?!.. А он — спроси его Даринька — ничего о нем рассказать не мог бы. Шевелились в памяти обрывки слышанного от матери, от няни.

Когда пили утренний чай и Даринька вся была в мыслях о предстоящей поездке в Высоко-Княжье, Виктор Алексеевич спросил:

— Так тот бутошник на мосту тогда... показался тебе похожим на святого?..

— Да-да, очень похож!.. Так жалею, не повидала его, не отблагодарила. А почему ты спрашиваешь?..

— Да разыскать бы его хотел, наградил бы... золото мое спас.

— Да, сохранил Господь. Помню, когда я бежала к Москве-реке, «Богородицу» все читала... и ему помолилась, прощения просила, все в себе повторяла: «Ты видишь, некуда мне теперь...» — сказала она с болью.

Он взял ее руку и поцеловал, жалея, радуясь.

— Как свежестью от тебя... какие приятные духи.

— А я с Уютова не душусь, забыла духи.

— Что ж не купишь? Вот что. Ты еще не вполне отдохнула, мне по делам надо, отложим поездку до завтра. А сейчас сделаем маленькую прогулку. На Воробьевку опять, хочешь?..

Она вспыхнула, вспомнив, и смутилась.

— Забыла я про грибы!.. — воскликнула она.

Грибы в платочке нашлись под креслом. Сколько переломалось!.. Вызвала номерного и велела сейчас же пожарить их в сметане. Ей казалось, что нельзя бросить эти грибы: что-то важное связывала она с ними. Грибы в сметане были необыкновенно вкусны, пахли березами, Воробьевкой, ожидающейся радостью какой-то...

— Может быть, что-то приятное узнаем... — сказал Виктор Алексеевич, — тебе не мешает прокатиться.

Что «приятное» — не сказал.

Повез тот же кучер Андрон, «счастливый», — «к Каменному мосту!». У моста они сошли. Виктор Алексеевич попросил показать то место. Это был первый выступ, справа, ко Храму Христа Спасителя. Они постояли, смотря на обмелевшую реку, на зеленые косы речной травы, струившиеся по дну.

— С такой высоты!..ты бы об лед расшиблась!.. — сказал Виктор Алексеевич в ужасе.

— Тогда вода близко совсем была... — сказала Даринька и перекрестилась. — У меня кружится голова, пойдем. Видишь, часовня на углу? Это- Николая Чудотворца. Всегда с тетей заходили, как проходили мимо.

— Вот как, — удивился Виктор Алексеевич, — е м у часовня здесь!..

— Вон, голубая, на углу. Образ снаружи. Тот бутושник страшно похож был на этот образ... вот закрою глаза — и вижу...

Они перешли мост и на углу, налево, увидели часовню, пристроенную к углу дома, смотревшую как раз на мостовой въезд. В ее стене, на Всехсвятский Проезд, помещалась икона Николая Чудотворца. Угодник был облачен в серебряную ризу, в митре; в левой руке Евангелие, правая — благословляет. Долго смотрели они на образ, на изображение строгого лица, в седой бороде, с резко означенными морщинами сумрачного чела.

Даринька хотела отслужить молебен, но иеромонаха не было, сидел у тарелочки за столиком старенький монах. Она подала на блюдечко и просила отслужить благодарственный молебен, «за спасение», когда будет иеромонах.

— А теперь надо отыскать того бутושника, — сказал Виктор Алексеевич и спросил стоявшего на посту городского, есть ли у них в квартале старичок бутושник. Тот ответил, что старичка у них нет. А года два-три тому? Он не знал, здесь он другой год только.

Управление квартала было на Знаменке. Поехали на Знаменку.

В управлении сказал им квартальный пристав, что и два года тому старичка не было, место это ответственное, приречное, у Кремля, — назначают сюда народ здоровый, бравый. Здесь он пять лет, не помнит никакого старичка. Да верно ли? Им очень это важно: старичок бутושник, в самый ледоход ночью, в конце марта 1875 года, под Великий понедельник, спас одну девушку, которая хотела кинуться с моста, вовремя удержал. Пристав поулыбался: быть этого не может, о всех важных случаях подается рапорт, и он, конечно, помнил бы. Вот отлично помнит, как в прошлом году, тоже в водополье, вытащил багром пьяного портного... а года два тому, тоже ночью, убило дышлом старуху. Они просили, нельзя ли по книгам справиться?.. Можно. Он велел подать книгу рапортов и дежурств, где, кто и когда стоял на посту и какие были происшествия. За 75-й год найдено, что в ночь на ...марта, стоял на посту у моста старший унтер Комков, подавший рапорт о драке и избиении какого-то цехового, найденного в бесчувственном состоянии у Боровицких ворот с проломом черепа. Больше ничего не было.

Тут старик письмоводитель, с кривым глазом, вспомнил, что был у них в штате заслуженный старший городской, фельдфебель Розанчиков, Николай Акимыч, тому лет шесть помер от тифозной горячки в Голицынской больнице, — «торжественно поминали, всем кварталом, очень был уважаемый-с». Вспомнил и пристав, что был наряжен на похороны «для оказания чести», за заслуги. Припомнил даже, что и самого Розанчикова видал вживе, теперь отлично помнит. «В приезды Государя старика наряжали в Кремль, на дворцовый пост».

— Он... этот старичок... небольшого роста, широкий такой?.. — в сильном волнении спросила Даринька.

— Как раз, — сказал пристав, — в медалях весь, солидный.

— Грозный был, — подтвердил письмоводитель. — У него ни-ни!.. Сбиток, борода аккуратная, седенькая, всегда подравнивал, в аккурате себя держал. Все его так и величали — Никола-Строгой.

— Это о н!.. — воскликнула Даринька, — И глаза... строгие у него, да?..

— Так точно, сударыня, строгой глазом, сурьезный был... у него ни-ни! — погрозил письмоводитель гусиным перышком. — На что воры, а и те уважали, не беспокоили. Как Акимыч на посту, спи спокойно, воры и район его не переступали, из уважения. Так и говорили: Никола-Строгой, заступа у него какая!.. с ним беспрерывно влипнешь.

— Да?!.. — вскрикнула Даринька, — З а с т у п а?.. так и говорили?..

— Сам слышал-с, от воров слышал. Страшились... на Угодника очень смахивал, строгого когда пишут.

— Был похож?!.. на Угодника?!!..

— Вылитый! Наш приход, угол Волхонки и Знаменки, против Пашкова дома, как раз и именуется Никола-Строгой. Можете официально убедиться.

Виктор Алексеевич не знал, что думать, стоял-слушал, растерянный.

— И это точно, что помер в семьдесят первом году? — спросил он.

— Глядите-с, вот она, книга... за семьдесят первый год. «Скончался...» Ошибки тут быть не может.

Он показал перышком на листе.

— Так что это уж не наш Никола-Строгой спас ту девицу, — хитро прищутив глаз, проговорил письмоводитель и раздумчиво почесал нос перышком, — а... д р у г о й!.. — значительно выговорил он и подкачнул головой, — будто и он, наружностью-с. Такое не раз бывало, и слышать доводилось... и в книгах написано, под цензурой. Удивляться тут нечему, известно по всем местам.

Переглянулись, помолчали.

— Чего ж тут... кто с верой прибегает, лучшей помощи и быть не может. И то взять: самое е г о место наблюдения, по реке. У нас одних бережных церквей «Никольских» больше десятка наберется!..

— Дозвольте сказать, Илья Анисимыч... — вмешался в разговор до сего ни слова не произнесший человек, с сизо-багровым носом и двумя гусиными перьями за ушами. — Я хоть пачпортист, но, как вы изволите знать, соблюдаю церковный вобиход в строгости... и все у меня вписано в тетрадь. Двенадцать московских церквей бережных, и все его, милостивца, Палестина. Стало быть так... — и он стал загибать пальцы: — Николая Чудотворца, что в Ваганькове, Николы в Николо-Песковском, к Смоленскому рынку-с... — два, Николы-Хамовники, Николы в Голутвине, Николы на Берсеневке. Малюты Скуратова приходская... Сколько, пять? Нашего Миколы — Строгого, угол Знаменки... шесть?.. еще Николы на Знаменке, два Николы в Зарядье... — девять?.. Никола Заяицкий, Николы на Болвановке, Николы в Пупышах... — полная дюжина!..

— Ну и память! — похвалил пачпортиста пристав. — За чего-нибудь столько навоздвигли. А это только бережные Николы, а всю Москву взять!..

— Сорок восемь, с монастырскими-с, не считая домовых!.. — радостно отчеканил польщенный пачпортист. — Мне ли не знать, ежели я имею такого покровителя, как сам я Николай?!.. И в жизни моей...

— Вот видите-с?.. — подмигнул письмоводитель. — Сухим из воды выносит... и девицам неимушим мешочки с золотом подкладывает, дабы... не блу... не гуляли... — поправился он.

Возбужденный, Виктор Алексеевич поблагодарил пристава четвертной, письмоводителя красенькой, и пачпортисту сунул зелененькую — «за такую точность». Даринька, когда провожал их письмоводитель, прибавила ему от себя — «за радость». Расстались очень довольные. Письмоводитель, потирая руки и подмигнув, весело сказал:

— Пример воочию-с... сами изволите видеть-с, наш Микола-Строгой и теперь нас не забывает.

И он подбросил на ладони серебряный рубль, добавочный.

Наутро они выехали в Высоко-Княжье.

XL «ИЗ УСТ МЛАДЕНЦЕВ...»

Случай с Миколой-Строгим оказался для Виктора Алексеевича полным немалою значения. О подобных «явлениях оттуда» ему доводилось не раз читать и слышать. Он хранил выписку из английского астрономического журнала, где была напечатана не имевшая ничего общего с наукой переписка двух астрономов, захватившая его горячим спором, — француза и англичанина — о бытии «того света», Даринькина «т а м... т а м». Хранил и записанный отцом рассказ матери об одном вещем сне. Она ночью проснулась с криком: «Митя бритвой зарезался!..» И этот сон подтвердился депешей из-за двух тысяч верст, сообщавшей матери, что ее брат, полковник в Закавказье, прошлую ночью перерезал себе горло бритвой и, умирая, хрипел: «Катя, молись за мою душу...» Эти «странные случаи» Виктор Алексеевич объяснял болезненным состоянием, галлюцинацией, неизвестным еще науке отображением явлений на расстоянии. И вот случай с Миколой-Строгим сильно смутил его, Даринька не могла лгать. Тогдашнее душевное состояние ее было, несомненно, болезненное, до утраты страха перед смертью. Можно ли допустить, что ее спасло чудо? — четыре года тому умерший явился в полицейском облике, кричал на нее, грозился, топал... и, самое поразительное, был похож на Николая-Угодника, точно такого же лика, как на образе часовни, у того же Каменного моста. Конечно, Даринька могла стать жертвой галлюцинации: когда бежала к реке, могла бояться, что ее увидит бутושник; когда-нибудь, быть может, даже и попадался ей на глаза этот старичок, похожий на Николая-Угодника, и эта похожесть отпечаталась в памяти, когда они с теткой — не раз — проходили по Каменному мосту мимо образа и старика бутושника. Но можно ли допустить такую сложную галлюцинацию? Виктора Алексеевича не меньше поразило в этом происшествии и другое: почему нимало не удивились в полицейском управлении? ни этот, уж наверное без всяких «нервов» и, несомненно, многогрешный пристав, ни прожженный письмоводитель, любитель приношений?.. «Явился с того „света!“» Для них это было совсем заурядное: да, явился! приказано было исправному служаке я в и т ь с я — и я в и л с я. И от сего, помимо чуда, получилось приятное и для его бывших сослуживцев: «Наш Микола — Строгой и теперь нас не забывает». Виктору Алексеевичу казалось непонятным, почему это чудо принимается этими будничными людьми, для которых оно должно бы выделяться из примелкавшихся служебных мелочей, за обыденное, чему и дивиться нечего. Для них почему-то даже и нет вопроса, есть ли это «т а м... т а м»! Как-то оно чуть ли не органически связано с ними, с жизнью... этот «тот свет» для них, просто, какой-то «свой»! Миллионы русских людей каким-то инстинктом, что ли, связаны с этим «светом»? Он знал, питал, что миллионы бредут за ним по всей России и на богомольях рвутся к нему слепую верой, хотят очиститься от скверны «сего мира», взывают, вздыхая: «Боже, очисти мя, грешнаго!» — строят церкви, приносят жертвы, принимают трудные обеты, творят подвижничества, жгут себя на кострах «за веру». А он отмахивался с усмешечкой от этого «абсурда». И, в сущности, всегда

сознавал в глубине совести, что усмешечкой не отделаться от э т о г о. Можно, конечно, совсем отбросить этот «вопрос», но доводы рассудка тут бессильны, они применимы лишь к измеримому, а тут... неизмеряемое до точности: как ни опровергай, всегда остается нечто тревожащее, саднящее...

Дорогой в Высоко-Княжье, в покойном купе I класса, он был захвачен такими думами. Теперь он уже не отбрасывал этого «вопроса», не закрывался доводами, не мог. Даринькин «тот мир» становился для него от нее неотделимым. Она была вся в нем, в ее Викторе, — это он твердо знал, — и все ее должно было стать понятным ему, с в о и м. От этого властного чувства полной слиянности с нею он не мог уже отказаться: все больше и больше она связывала его с собою, влекла его. Он думал: «Вот что такое это — „вези возок“. Веди?.. не о тяжести тут, не об искуплении... а о... в е д е н и и?..» Она — или рассудок? Он хотел в с ю ее. Но и рассудок как будто был уже неотрывно с нею. Он теперь искренно признавал, что ее в е с ь м и р — этот и т о т, нерасторжимо в ней слитые, — величественней и глубже его мира, скованного действительностью.

Она подремывала в кресле. Совсем детская улыбка была у ней. Он коснулся губами уголка рта ее, она открыла глаза и улыбнулась,

— Задремала... Ты задумался, не хотела тебе мешать, и... Ты и сейчас думаешь о чем-то?

— О чем же мне думать, как не о тебе! Сейчас думал... ты вся живешь сердцем, чувствами, порывом. Ты горячая, страстная, при всей твоей целомудренной скромности...

— Почему ты так говоришь?.. — сказала она, смутясь.

— Ты очень жадна до жизни, до всей полноты жизни. Эта жизнь, видимая, тесна тебе, тебе нужна беспредельность, ты рвешься и к земному, и к небу, ко всей вселенной, к изначально в с е г о... чего искал и я...

— Я не понимаю...

— Не надо понимать. Ты живешь инстинктом, страстностью. Все они... мученики, святые, творцы религий... всегда в боренье, в страстях, в порывах, пока не преодолеют скованности, страстности... и тогда светят светом преисполнения. Мне это понятно — разумом. Восток породил их, всех. И сколько же в тебе этого «востока»!..

— Я знаю свои грехи и молюсь, не кори меня...

— Да я счастлив, что ты такая, безмерная!.. — воскликнул он. — Я слишком мерный, мне, должно быть, мешает «немец» во мне. Я ведь вполовину помесь... я ограничен мерой...

— Я не понимаю... немец?.. это что значит?..

— А вот. Один умный немец определил с в о е... один немецкий сочинитель. Представь себе два входа рядом... на одном написано «Рай», на другом — «Доклад о Рае». Если бы подошли немцы, ну... кто живет рассудком, все вошли бы во вторую дверь, чинно, не толкаясь. А если бы это была ты... ну, вообще, русские, — так бы и ринулись в первую дверь, где «Рай!». А какой он, и какие там «правила» — безразлично: «Рай» — и все тут. Понятно тебе?..

— Да. Нужна вера, душа, а не... доводы. Всегда ты говоришь «доводы»...

— Теперь вот и вышучиваю себя, через тебя становлюсь чуть другим...

— Не через меня. Это Его милостию слепые получают зрение.

— Без тебя не получил бы. Твой мир влечет меня, т а й н о й...

— Не знаю... это маленькое, если через меня. Надо, чтобы Господь коснулся души, обновил ее, затеплил в ней с в о й свет, вечный. Я не умею тебе лучше сказать. Ты вышутил меня... Нет, дай мне сказать, а то я забуду... Ты говоришь — это все от страстей верят в вечную жизнь, чтобы всегда жить, хотят усладенья, рая... и вот потому-то и верят. Я знаю, да... страсти томили и святых, им зато трудней было одолеть искушения. Не смейся надо мной...

— Разве я смеюсь!..

— Ах, нет... сейчас не смейся, чего скажу. Я не от жадности верю в вечную жизнь, а... от в е ч н о г о с в е т а в нас, от Господнего, мы по Его образу-подобию, как Его лучшие создания, как «дети Божии»... — говорила, что самые великие мудрецы... и называла их, и показывала их лики... только я позабыла... все они верили в Господа.

— Д-да... — смутился Виктор Алексеевич, — Сократ... Магомет, Платон... — он называл имена, а Даринька будто вспоминала, повторяя за ним «да, да»...

— Вот видишь... самые мудрые!.. правда?.. Вон ворона летит!.. — показала она в окошко.

Моросил дождик, низко висели тучи. Над мокрыми полями, где еще шла уборка, летали скучные вороны.

— Ворона ничего не знает о вечной жизни, о т о м мире. Да и этот, земной, маленький совсем у ней... поле, гнездо в лесу, задворки... И вон коровка, жует под дождем, и у ней только трава... Думаю о тебе... у тебя нет простора, а все «доводы»... — улыбнулась она, — одно тленное, которое рассыплется...

— Ты меня поражаешь, Дарья!.. как тонко ты вышутила... — ворона, корова, доводы... — рассмеялся он.

— И не думала вышучивать, не хотела тебя обидеть, а...

— Ты — как малинка... наливаешься с каждым днем! а когда созреешь... что же тогда?!..

— Погорит на солнышке, потом... — сказала она грустно.

Об этом «разговоре в вагоне» есть и в «дневнике» Виктора Алексеевича, и в «записке к ближним». Дарья Ивановна записала в конце рассказа: «...Из уст младенцев Ты устроил хвалу».

В «дневнике» Виктор Алексеевич писал, что этим разговором в вагоне она раздвинула перед ним такой простор, проявила такой взлет духа, что у него захватывало дыхание. И все это — самыми простейшими словами. Кто научал ее? откуда черпала она это?.. Она возносила ч е л о в е к а из праха на высоту, до Истока, до Безначального, Абсолютного!..

«...Она сразила меня в моем шатком уже неверии... чем? Простым, до шутки, — новым „колумбовым яйцом“!.. Первое „яйцо“... это когда решила „вопрос о петухе“. Сказала, помню: „В бессмертную душу в тебе, в искру Господню в тебе ты не веришь, а веришь тленному, которое завтра будет перстью. И можешь воображать, что этой перстью разрешишь тайну Божию?!.. Это же все равно, как это... — она взяла со столика печеное яичко, — ...яичко! ты веришь, что его можно подложить под клушку и выведется из него цыпленок, а?.. веришь?..“ Не забуду это ее „яичко“. Этим разговором она подняла во мне кипение мыслей, и это кипенье все сильнее бурлило во мне, до последнего взрыва — о т к р о в е н и я, когда взлетела тяжкая крышка моего бесплодно кипевшего „котла“. За эти часы в вагоне она открылась мне в такой красоте ума и сердца, в такой гармонии между ними, что можно почувствовать лишь в совершеннейшем произведении искусства. И надо еще было видеть ее глаза: игравшую в них ж и з н ь, с в е т, который я мог бы назвать — вечный, божественный, И все это — при ее малограмотности! Самым

неопровержимым доводом этой в е ч н о с т и была она сама, с е е с в е т о м».

ХЛІ ТЛЕН

Высоко-Княжье они представляли себе величественно-прекрасным, с великолепно-старинным дворцом-домом, как на Басманной, с прудами, парками, цветниками, столетними соснами и кленами, с внушительными въездными воротами, с очень старинной, «боярской», церковью, в решетчатых узеньких оконцах, со сводами «корытом», как на Берсеневке палаты Малюты Скуратова. Это была вотчина исторического рода. Даринька мечтала о чем-то необычайном, что вот откроется ей; представляла себе гробницу отца, вспоминая виденное в старинных монастырях, в соборах. На прудах в парке увидят белоснежных лебедей... Все, что связано с ним, должно быть прекрасно-величавым, чистым и радостным. От Виктора Алексеевича она знала, что эта вотчина числится за их родом больше пятисот лет. Там богатейшее собрание редких книг, картины великих мастеров, древние подземелья, полные золотой и серебряной утварью, драгоценным оружием, жалованным царями и добытым в боях с врагами родной земли...

От Владимира-на-Клязьме ехали разбитым трактом до Суздаля. Потом — верст тридцать проселками. Глухие пошли места, «медвежьи», К ночи, в темень и дождь, уставшие, добрались, наконец, до Высоко-Княжьего. Заночевали на постоялом дворе, вонючем, грязном, набитом мухами. На обычный вопрос хозяина, хмурого мужика: «А далече ехать изволите?» — Виктор Алексеевич сказал уклончиво: «Да вот, хотим посмотреть именье... продают, говорили нам?..» — «Навряд... запрещенное оно, детям отписано, становой сказывал намерни... запутано долгами, а продавать нельзя, какой-то для него закон особый... Царь из казны будто долги заплатит, вон какое. Тут сейчас барыня с детьми, а барин на войне, полковник... за деньгами, говорят, поехал, играть в картишки... может, еще и расторгнется. Мужик здесь недавно, делов этих хорошо не знает, торговлишки никакой, хоть бросай».

— Место недвижимое, ровно погост. Летнюю пору плотничать расходятся, только мухи и веселят... — сердито плюнул мужик.

Наутро — день был опять дождливый — пошли к церкви. Никакой живописной горки, как ждала Даринька, а низина; повыше серела церковь, ящиком, с низкой кровлей, с маленьким крестиком. «Какая церковь-то невидная!..» — грустно сказала Даринька. «Что-то вроде ампира!..» — отозвался хмуро Виктор Алексеевич. Ни ограды, ни берез с гнездами, а пустырь, бузина, крапива. По грязно-гороховым стенам, с язвами отпавшей штукатурки, пятнисто-зелено ползла плесень, из окошка с вывернутой решеткой торчала оставшаяся с зимы труба печурки. И это — Высоко-Княжье! Никакой высоты, ничего «княжьего». Дариньке хотелось плакать. Под рябиной серел домишко. Как раз вышел священник в рваном зипуне и влез в тележку, ехать за снопами в поле. Виктор Алексеевич посвистал и сказал: «И поп-то шершавый...» Поп был правда шершавый, тощий и раздражительный. Поморщился, что просят отслужить панихиду: «В часы служений у нас полагается... сами видите, погода, другую неделю крестцы мокнули». Им стало неудобно.

В церкви было запущено, остро воняло сыростью. Да как же так?!.. Узнав, что они проездом, священник сказал грубо:

— За пять лет первые вы панихиду служите. Владельцы в церковь не заглядывают, барыня из немок, а барину наплевать на все, только бы ему карты. Покос у причта оттягали, народишко отбился, жить с семьей не на что, хоть беги.

Служил наскоро, бормотал. Склеп был накрыт чугунной плитой. Ни подсвечника, ни лампы. На плите были отлиты имена. Имя боярина Феодора было наведено померкшей позолотой. Даринька стояла на коленях, не плакала. Горько было, что нет сладостной боли в сердце, будто пусто и под плитой. Странно смотрел с этой немой плиты заботливо довозенный из Москвы букет белых роз и незабудок в драгоценной хрустальной вазе. Виктор Алексеевич раздраженно думал: «Завтра шершавый выкинет розы, а гарраховскую вазу попадья пустит под молоко либо спустят кабатчику

за целковый». Об усопшем поп знал только, что на охоте застрелили. Получив за бормотанье, — Виктор Алексеевич, раздраженный «всем этим безобразием», дал только полтинник, — шершавый запер церковь и погнал в поле.

— Вот, умирание... — сказал Виктор Алексеевич.

— Да... — растерянно сказала Даринька, пряча лицо в платочек. — Господи, как все горько...

Стояли на пустыре, в дожде, чего-то ждали. Даринька старалась вызвать в себе образ отца... и не могла, не помнила. Корила себя, что не попросила у старого дворецкого показать его портретик, так тогда растерялась. Думала: «О н у Господа... у Господа ничего не пропадает».

— Только дух оживляет тленное... — сказала она с собой.

— Хоть бы видимость порядочности... скотство!.. — раздраженно воскликнул Виктор Алексеевич.

— Для чего же видимость показывать, если здесь нет!.. — ответила Даринька тоже раздраженно. — Они и живые — мертвы!.. у них здесь... тлен! — вскрикнула она, стукнув кулачком у сердца. — И о н и... т у т?!.. Какая на... — она хотела сказать — «насмешка» — ...испытание!.. как это тяжело!..

Ждали чего-то у церкви. Прошла баба, завернув на голову подол. Окликнули ее, но она оказалась бестолковой, никак не могла понять, чего им надо. А они спрашивали, нет ли здесь стариков, кто мог бы что-нибудь им сказать об усопшем боярине Феодоре... Она и не слыхала о таком. Что-то, наконец, уразумела и показала на задворки попова дома: «Там просвирня тулится в сараюшке, чего, может, и знает».

Насилу они дозволились: просвирня была глухая и нездешняя, а с «того конца»... Дали ей рубль.

— Приход бедный, господа на церкву не подают... утираны... что ли.

Народ ходит на тот конец, там московский подрядчик богатую церковь воздвиг, и батюшка там другой, «не наш колючий», служит благолепно и вразумляет. Была тут до нее старушка просвирня, да померла, — «она про господ сказывала, да я призабыла... про девицу сказывала, дьяконову сиротку, она к барину в Москву уехала». Ничего больше не дознали. Да что и узнавать, — все известно.

Прошли к поместью. Усадьба была обнесена с казовой стороны решеткой, местами уже раздерганной. Стоял остов въездных ворот: каменные столбы с рыжими тычками, для фонарей. В пустой аллее, в глубине, белелись колонны дома, гоняли в визгливом лае две борзые. Дождь барабанил по лопухам. Прошел мальчуган лет четырнадцати, босой, с подкрученными мокрыми штанами, в облепивших ноги семенах. Был он в матроске, с удочками, в накидке. Небрежно оглядел их, — видимо, барчук.

— Скажите, это чье имение?.. — спросила Даринька.

— Наше, Велико-Княжье! — бросил мальчуган и приостановился. — А вам кого надо?..

— Нам, голубчик, ничего не надо, — сказал Виктор Алексеевич, — а ты вот что скажи...

— Почему говорите мне — «ты»?.. я не привык к «тыканью»!.. И вовсе я вам не «голубчик»!..

Он не уходил, — видимо, ожидал, что ответит «невежа». Виктора Алексеевича раздражила заносчивость мальчишки.

— Простите, милорд... — вы, кажется, принадлежите к историческому роду..... и должны знать,

что в этой захудалой церквушке покоится прах ваших славных предков... и в какой же мерзости запустения!..

— П-шли вы к черту!.. — взвизгнул мальчуган и побежал.

Они остолбенели.

— Надо было!.. — с сердцем сказала Даринька.

В тот же день выехали они в Москву.

XLII КРУЖЕНЬЕ

Не хотела их отпускать Москва. Столько объявилось мелочей, покупок — пришлось задержаться и снова отложить «новоселье» до следующего воскресенья.

Поездка разбила Дариньку. Пролежав два дня, она сказала, что хочет поговорить, едет в Вознесенский монастырь, там ночует у знакомой монахини. На другой день она вернулась успокоенной, просветленной, очень хотела есть, но сперва вкушала теплую просфору, особенно душистую, «вознесенскую», и запивала кагорцем — теплотцой. С удовольствием ел просфору — «удивительно вкусная!» — и Виктор Алексеевич и запивал кагорцем. Нашел, что это «нечто классическое, сохранившееся от тысячелетий, священное... чистейший хлеб и чистейшее вино!..». У греков был даже особый глагол для этого «соединения воды и вина»... Даринька сказала:

— Это «омовение уст» после принятия Святых Тайн, т е п л о т ц а... Да, это древнее установление, Христос освятил его.

Виктору Алексеевичу стало неловко за свою «вычурность»: все у него неопределенное, а у ней — ясное и простое, без всякого сомнительного «нечто».

Даринька отдалась заботам: надо было всем привезти гостинцев, порадовать. Она составила список, кому — чего, и смутилась, можно ли истратить столько. Он поглядел список и удивился, как все продумано.

— Ты хозяйка, у тебя свои деньги, делай по своей волюшке. Получаешь с твоих бумаг больше 600 рублей в месяц. Мои средства, жалованье... мы теперь богачи.

— Это страшно, богачи... — сказала она. — Мы должны жить...

— ...и будем жить так, чтобы не было страшно, — прервал он ее. — Тебя радуют чужие радости, и радуйся. Ты ангел, если есть ангелы.

— Ты же видел, хоть одного! — сказала она с улыбкой. — Ну, теперь мы раскутимся и будем кутить всю жизнь! — вышло у ней и нежно, и задорно.

— Да, я видел.

Список, в несколько страничек из тетрадки, где она упражнялась в чистописании, стыдясь своих каракуль, совсем детских, был все еще неполон.

— Трать их, с т р а ш н ы х! Как я любил дарить, когда бывали деньги!

Не был никто забыт: не только уютовские, батюшкина семья и покровские, кого знала Даринька по селу; даже ямщик Арефа...

— Пиши и того скареда, собакой-то лает!.. — смеялся Виктор Алексеевич. — А меня вписала?

— Ты у меня давно вписан. Хочу и инженеров твоих порадовать.

Придумала заказать всем по серебряной чарочке, вырезать «Уютово» и день. Проверяя список, она воскликнула: «А Витю и Аничку-то?!..» Он сказал:

— Милая... себя-то, конечно, и забыла!..

Она покачала головой.

— А это?.. — показала она список. — Ведь это мне все дарят!..

На покупки ушло дня два. Накануне отъезда Виктор Алексеевич сказал, что теперь и его черед и чтобы она не возражала, — дает слово?

— Ну, закруживай напоследок.

Повторилось очарование первых дней их жизни, — соблазн вещами мира сего.

Москва была переполнена. Война разгоралась. Было много иностранцев. Ходили слухи о постройке новых железных дорог. Лопались и возникали банки, рубль шатался, начинался ажиотаж. Рассчитывали на расцвет после победы, на золотые горы в Туркестане, выпускались акции будущих заводов, дорог, нефти. Москва ломилась от заграничных товаров, Кузнецкий и пассажи слепили роскошью, роем модниц и дорогих прелестниц. Сомнительные рубли выменивались на бриллианты. В цветочных магазинах не хватало цветов для подношений. Посыльные в красных кепи мчались на лихачах с пакетами; шелка и бархат требовали срочно из Лиона. Ювелиры в неделю составляли состояния. Шептали по салонам, что Гурко и Скобелев играют пока по маленькой, а через год-другой русский Орел опустится на ворота Царьграда. И потому ломились рестораны и приходили целые поезда с шампанским из заманно-волшебной Франции.

В такой-то водоворот и попала нежданно Даринька. Виктор Алексеевич праздновал свое счастье, Даринька отдавалась радости о с в о б о ж д е н и я. И не смущало, что Виктор безумствует, хочет видеть ее нарядной, становится — пусть и через это- к ней ближе, «входит в ее мир», как он говорит, — пусть...

— Ты должна хоть этими мелочами отзываться и на мои вкусы... — уговаривал он ее. — Должна иметь полный комплект приданого... так хотел бы и твой отец.

— Ну, хорошо... пусть по-твоему... закупим — и кончим с этим.

Он стал выбирать для нее тонкое белье. Перед ним разметывали пену воздушных тканей, брюссель и валянсьен. Он отдавался власти душистого шелеста и блеска. Тут только поняла, что у нее нет ни приятных ног чулок, ни розоватых лифчиков, ни нарядных утренних кофточек, — одна только, изумившая ее в болезни: она берегла ее, страхась нарушить ее нетронутость. Не было даже чепчика, с детства ее не приучали. Ее смущали завистливые взгляды, так ей казалось. Думалось, что ее принимают за т а к у ю, — «швыряется бешеными деньгами!».

Выбрали несколько платьев: прежние она раздарила, иные страшно было надеть, от прошлого. Для новоселья он выбрал сам: короткое, темно-синее. Оба были довольны: чудесно облегает, юнит, — платьице молодой хозяйки. Оно ее близило, простило. Он говорил ей: «Ты теперь совсем синяя стрекоза!»

Духи, перчатки, шляпки... Кругом было стрекотанье, спешка, казалось это очень важным, нужным, — захлестывало волной со всеми. Виктор Алексеевич готов был купить целую Москву.

В Пассаже играл духовой оркестр, на помосте стояли большие, в красных печатях, кружки с Красным Крестом, — «на раненых». Сыпали серебро, пропихивали кредитки. Даринька опустила сторублевку и вдруг потребовала: «Сейчас же все бросить, все эти прихоти... столько горя!..» Сейчас же все закупить для раненых, для солдат, все еще ничего не сделано. Она рассердилась на себя, на Виктора, — тешит ее балушками! Стала требовательной, возвышала голос: «Сейчас же, или я одна все... а эти глупости выброшу!..»

Тут же, в Пассаже, под полотнищем Красного Креста, выдавали справки, что посылать в армию, где найти. Они закупили все, что надо, и направили в городской комитет, под высоким покровительством, Даринька успокоилась. Было у ней такое чувство, что и все, закупавшие для солдат, довольны так же, как и она: «Все связаны страданием и жертвой... и надо больше, больше!..» Того же и все хотят.

После приятного обеда в Сундучном ряду, в веселой деловой суতোлке-спешке, где перекусывает торговый люд, — ветчина с горошком, «от Арсентьича», суточные щи, сосиски с капустой и неизменная бутылка шипучего напитка, чуть-чуть хмельного, под прозвищем «кислые щи», — закончили они покупки у Егорова в Охотном и у Андреева на Тверской, для званого обеда. Виктор Алексеевич оставил ее с коляской, — ей надо было в синодальную лавку на Никольской и к Кувшинникову в рядах, купить шелков и шерсти, — а сам пустился «по очень важному делу», обещая не задержаться, чтобы приготовиться к отъезду.

XLIII К НИКОЛЕ-МОКРОМУ

«Очень важное дело» было сюрприз для Дариньки. Хотелось отметить исключительно драгоценным, чистым новую путину жизни, Даринькину п о б е д у. Тогда он не мог еще точно уяснить, в чем же ее п о б е д а, но чувствовал, — да, победа. Что-то в нем сдвинулось, «завязалось», новое. Победа ее в том хотя бы, что его занимает ее мир, что ему без нее — нельзя.

Он уже раньше объездил лучших ювелиров. Предлагали очень дорогое и превосходной работы, но без души: сработано, но не создано. Он не мог точно объяснить, что ему требуется: его не понимали. Когда он высказал у первейшего ювелира, что ему нужна вещь «предельной чистоты», ему сказали: «Помилуйте, эти камни — предельной чистоты!» И вот перед самым отъездом он вспомнил о «поэте-ювелире», работавшем на знатоков и Двор. С детства остались в памяти самоцветные камни и чудесные рассказы-сказки этого «поэта-ювелира». Но как разыскать его, и жив ли он?

Этот ювелир, потомок голландского выходца, захаживал к отцу сыграть в шахматы и побеседовать за кружкой пивка. Оба собирали старинные монеты. Иногда ювелир доставал из потайного кармашка замшевый мешочек и высыпал на лоскут розового плюша самоцветы. По словам отца, был он «с пунктиком»: любил рассказывать «таинственные историйки». Виктор Алексеевич одну из них еще помнил: о каком-то подземном небе, где царство самоцветов, где вспыхивают новые звезды-самоцветы; а те, что находим мы, — лишь пылинки таинственного царства. Его мастерство очень ценилось знатоками: из самоцветов он создавал «симфонии». Огранивал для Дворца пасхальные яички. Такое-то яичко, восхитившее Дариньку, сохранилось у Виктора Алексеевича; память отца: брелок из изумрудика. Дед голландца разыскивал редкости для блистательного Потемкина.

Фамилии мастера Виктор Алексеевич не помнил, но у Хлебниковых сказали, что это, по-видимому, Франц-Иоганн Борелиус, известный ювелир и гравер, — делал по их заказу ценный ларец для митрополита, но давно не работает на них; о смерти его не слыхали, не уехал ли из Москвы. Посоветовали справиться в Зарядье, когда-то там проживал. Виктор Алексеевич поехал в этот кипучий центр. Ввязалось в мысли, что у Борелиуса может найти достойное Дариньки, чистейшее. Вмешалось и другое: разыщет ювелира, найдет подходящее — «будет хорошо». Что «хорошо» — не стал раздумывать.

Он исходил Зарядье — про ювелира никто не знал. Спросил наудачу в открытое окошко старичка, клеившего «елочный товар», — хлопущи, коробочки... — и тот, что-то припомнив, присоветовал толкнуться к Егорычу, в Мытном проулке, «масленицы» на всю Москву изготавливает. Какие «масленицы»? Горки такие, веселые, в елках-розанах, на большом прянике, в торговых банях на сборку ставят, на чай гости на масляной банщикам опускают в дырки, — один мастер на всю Москву. Слышал от Егорыча старичок, — какой-то золотарик-немец захаживал к нему, сказки друг дружке сказывали.

Егорыча в Мытном знали. Нашел его Виктор Алексеевич на чердаке, в ворохе ярких бумажных розанов и золотой бумаги: готовил «масленицы». И тут вспомнил, как радовался, бывало, в детстве, на такой «садик», с деревцами из курчавых бумажек, с раскрашенными зверушками из теста на палочках, с ледяными горками из цветных картонок, с нитями золоченой канители сверху, и все это волшебное- на большом круглом прянике, медовом. Тут же заказал несколько самых парадных «маслениц» для Уютова, порадует Даринька. Заплатил вперед. Обрадованный Егорыч стал пояснять:

— Масленица показывает подход весны. Солнышко уж поигрывает... канителька-то у меня золотая. Солнышко, значит... ишь, как подрагивает-то — играет!.. А вот, видите, зверушки вылезают из лесу-то... значит, всяко живое ещество проявится напоказ. И горки у меня катальные. А пряник, стало быть, блин, самая масленица. А розаны — для красы-радости, цветастые какие!..

Было любопытно слушать. Но вот, золотарик-немец... не Франц-Иоганн Борелиус? Егорыч того ювелира знал. Звать его, это точно, Франц Иваныч, человек мудрый и ученый, нелюдим только, кого хорошо не знает... давно что-то не захаживал, а то вроде как бы друзья с ним были, очень все понимает, и «масленицы» глядеть любил, всегда раньше покуповал, для радости... только вот слух был, обокрали его, все его камушки унесли. А жил у Николы-Мокрого.

— У Николы... Мокрого?... — переспросил Виктор Алексеевич, вспомнив, — тот, пачпортист, поминал Николу-Мокрого!..

— Совсем неподалеку... Николы-Мокрого церковь, невысокенькая... Да он будто уж о т р е ш и л с я.

— Что это — «отрешился»? работу бросил?..

— О т р е ш и л с я... — повторил внятно Егорыч, — значит, — помирать готовится.

— Почему — помирать готовится?... опасно заболел?..

— Этого я не знаю. Давно, говорю, не бывал... а стал в нашу церкву ходить. И чудо у него случилось... Все нелюдим был, а теперь и вовсе отчельник. Церковный мне сторож намекнул, а про него, значит, он не знает, проживает где. И сторож наш тоже крепкий, из его слова не вытянешь.

— Что же у него случилось, какое чудо?..

— Угодник-батюшка самый редкостный камушек его от воров прикрыл, не могли увидеть... с о б о й прикрыл. С той поры и стал в нашу церкву захаживать. Раз его видал издаля, совсем уж он нелюдим, в себе хоронится. Не стал их беспокоить, а после не видал. Спросите у сторожа, может, чего и скажет... да сурьезный, как тоже подойтить.

— Говорите — с о б о й прикрыл?.. — залюбопытствовал Виктор Алексеевич, связывая почему-то это «чудо» с тем, с Даринькой... и — еще — с тем «чистейшим», чего искал, не уясняя себе: «Самый редкостный и п р и к р ы л!»

— Рассказывали так, от сторожа слышали. Бывает это у нас, сколько пропаж находили... помолобествуют — ан и нашли!.. Толканитесь...

— А за «масленицами» непременно пришло! — радуясь чему-то, сказал Виктор Алексеевич.

Пошел к Николе-Мокрому, раздумывая: «Зачем теперь мне Борелиус?.. даже вон „отрешился“... самый редкостный и п р и к р ы л!»

Раздумывал — и ч т о-т о его тянуло. Светилось в нем — «не мыслью, а каким-то ощущением» — определял он, рассказывая:

— Ну, вот, будто думаю: и вдруг у него-то и найду?..

XLIV СКРЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ

Он нашел церковь Николы-Мокрого, нашел и сторожа, строгого старика. На настойчивость барина, с ясными пуговицами и бляхой на груди, сторож, хоть и неохотно, отозвался: «Франца Иваныч з д е с ь».

— З д е с ь?!.. — почти крикнул Виктор Алексеевич.

— В нижней каморке проживают. Но только они никого не допускают, строгий от них наказ. Приуготовляются на покой, к Николе-на-Угреши.

Виктора Алексеевича толкнуло в грудь: опять Никола!.. Не понял: «Никола... на!..

У г р е ш и?..» Спросил: «Куда?..»

— К Николе-на-Угреши!.. — повторил сторож. — Старый монастырь, «Угре-ши». Значит, «угреешь»! От нашего батюшки знаю, и во писании читал, Франца Иваныч знают, не раз бывали, верст отсюда двадцать, к Поклонной горе. Да это всем известно.

Говорил даже с недовольством: чего тут спрашивать?..

Виктор Алексеевич долго настаивал доложить о нем, совал трешник. «Пойми же, голубчик, важное дело у меня к нему, душевное!.. сын, мол, старинного приятеля покойного, по очень важному делу, душевному!..» Сторож подумал, помял бумажку.

— Ох, барин... уж и не знаю. Им спокой теперь требуется... Ну, возьму уж грех на душу, приму на маслице Угоднику-батюшке... — сказал, вздыхая, сторож и положил бумажку под образа, где теплилась лампадка.

Пошел в закутку, гремел будто железной дверью, куда-то вниз. Виктор Алексеевич ждал, «в непостижимом волнении». Смотрел на пунцовую лампадку, на образа, в веночках. Узнал Угодника, в митре, темный, суровый лик. Дня три тому и не думалось об этом «поэте-ювелире», «с пунктиком»... и вот как-то скрестилось, никакой логикой не объяснимое: «Голландец, кальвинист, чудак, певец самоцветов... — и этот, очевидно, солдат когда-то, лохматобровый, упористый, каменно-верующий... самоцветы, воров, Угодник... п р и к р ы л... и все это как-то с б л и ж е н о, ч е м-т о скреплено!..»

Смотрел на строгий лик, недоумевая...

— И, представьте... я уже з н а л, что увижу этого «отрешившагося», что он велит допустить к нему, что недаром же все так переплелось, и во всем, он, Никола?!.. — о котором я три дня тому совсем не думал, годы не думал, о нем ничего не знаю... Вот тогда, перед этим суровым ликом,

много мыслей и ощущений прошло во мне, тревожа, подымая вопросы. Помню, думал: «Вот какое скрещение жизненных путей... о чем и не помышлял... зачем это мне, в с е э т о?.. почему я хочу добиться?.. ведь я же, логически, должен себе ответить — „Вздор, ни для чего, ничего не найду, о н уже „отрешился“, давно не берет заказов, его давно забыли...“ — а я вот вспомнил, сверхлогикой в е д у с ь?.. Но я же здоров, все в моей жизни светло, со мною Даринька... и я, наперекор рассудку, вижу непостижимое „скрещение путей жизни“ и верю, жду!!! Мне так врезались эти слова, что тут же и записал в книжечке: „Скрещение путей жизни“, — боясь, что могу забыть».

Он слышал где-то в н и з у... — «почему внизу?» — глухие голоса. Загремело железо, слышались тяжелые шаги по камню. Сторож вышел из закутка, явно удивленный: «Франц Иваныч позволили допустить». Зажег восковую свечку и дал Виктору Алексеевичу, сказав, что надо считать десять ступеней и потянуть за скобу дверь внизу, в подвальчик. Виктор Алексеевич испытал ощущение странное, заманное, как бы во сне, повторяя навязавшееся: «Скрещение путей жизни».

Он спустился по десяти ступеням, светя себе, потянул загромыхавшую железом тяжелую дверь и оказался в сводчатой каменной камерке с крошечным зарешеченным оконцем вровень с двором: лезли лопухи в оконце. На лежанке горела в серебряном свещнике толстая церковная свеча. Высокий, сутулый, худой старик, с белой бородкой клином, «дьячковской», в вытертом кафтане, похожем на подрясник, в скуфейке монастырского служки, встретил приветливым возгласом:

— Да благостен будет ваш приход!

Виктор Алексеевич не нашел слов ответить, лишь поклонился почтительно: никакого голландца, а... о т р е ш и в ш и й с я ч е л о в е к. Было такое чувство, будто переступил грань мира сего и слышит невнятный шепот т о г о, за этой гранью.

XLV ЧИСТЕЙШЕЕ

Совсем русский старик-монах!.. Куда девался былой Франц-Иоганн Борелиус, розовощекий, бритый, в длинном сюртуке пастора, в высоких воротничках, замкнутый, как сохранилось в памяти с юных лет?.. «Зачем тревожу его? что могу я найти?..» — подумал смущенный Виктор Алексеевич.

Представился, теряясь в словах. Старик покивал, всматриваясь в него пытливо, спрашивая как будто: «И это... б ы л о?!...»

— Да, да... — отвечивал он неопределенно, — что же вам от меня угодно теперь, сударь?..

Виктор Алексеевич совсем смутился, поняв прикровенное «теперь»... и изложил сбивчиво, как искал у лучших ювелиров ч и с т е й ш е е, для одной из чистейших сердцем, болеющих о всех страждущих, дарованной ему в спутницы жизни неисповедимыми путями... не нашел ничего достойного ее и вот совершенно неожиданно вспомнил о нем, чудесном художнике-поэте, так неожиданно отыскал его, з д е с ь... — оглянул он затвор-закуток, — но теперь видит, что тревожит его напрасно, что в с е п р о ш л о... и рад хотя бы пожать руку и вспомнить...

Старик, слушая его вдумчиво, чуть улыбнулся, глазом... — «будто даже и подмигнул», — и это напомнило, как вот так же подмигивал Франц-Иоганн Борелиус, играя в шахматы.

— Почему вы сказали, что «потревожили напрасно»? и почему — «все прошло»? — спросил он грустно. — Ото всего всегда что-то остается... и потому, какая должна быть осторожность и какая ответственность! Я ждал: должны прийти и развязать меня. И вот пришли вы. Пришли за с в о и м. И все так и шло, чтобы вы именно и пришли.

Виктор Алексеевич не мог ответить, так его это поразило.

— Вы пришли взять от меня ч и с т е й ш е е, потребное душе вашей... — продолжал, отмеривая слова, старик. — У меня е с т ь оно, и вам я вручу его. В вашем явлении ко мне я вижу подтверждение того, во что я всегда верил, чему старался служить всю жизнь, И самоцветы идут путями, которые им указаны. Ч е л о в е к... малоценней ли самого ценного из них? Самоцвет... одухотворенный кристалл, высшее в мире неорганическом. Теперь слушайте.

Виктор Алексеевич почувствовал через эти торжественные слова, что бывший Франц-Иоганн Борелиус, притулившийся в конце дней на задворках православной церкви, все еще продолжает жить в мире волшебных грез, в некоем порождении творчества Гофмана и Эдгара По. И особенно внятно понял, что «ото всего всегда ч т о-т о о с т а е т с я». И тут, в свете свечи церковной, увидел на низеньком комодике небольшую икону Угодника, отблескивающую тускло серебрецом. «И т у т — о н!.. — изумленно мелькнуло мыслью, и он чуть отступил назад. — У э т о г о, кальвиниста... в суетном муравейнике Зарядья!.. что же это со мной?..» Он, по его словам, совершенно тогда утратил сознание действительности, — «как во сне»: как в ту мартовскую ночь, когда с ним случился обморок.

— Теперь слушайте... — услышал он чеканный голос.

И начался непостижимый рассказ, напомнивший рассказы о таинственном мире самоцветов, о подземном небе, где самоцветы вспыхивают и начинают жить, движутся по своим путям. Теперь рассказ говорил о скрещении жизней людей и самоцветов, но в том же духе рассказов Франца-Иоганна Борелиуса.

— Не дивитесь: бывает непостижимей. За мою жизнь я получил не одно свидетельство сему.

Года тому четыре приезжал из Сибири в Москву старший Вейденгаммер, Алексей, и дал заказ на серьги и брошь, «для прекрасной женщины». Борелиус знал, что у Алексея «прекрасные» менялись, и принял неохотно. Тянул, не отвечал на письма. Было на совести: дал слово, а не выполняет, только обделал самоцветы, оставленные ему заказчиком, — редкие по чистоте бериллы, чистой воды алмазы и редкостная окраской и величиной бирюза — «осколок свода небесного», — мелкие изумруды и рубины. Тому года полтора, после настойчивой депеши, Борелиус в два месяца завершил парюр[4]: берилловые серьги и брошь. Он написал в Сибирь и узнал, что заказчик помер. Борелиус помнил, что у Алексея был брат Виктор. Узнал адрес, послал два письма, но не получил ответа. Наконец, недели три тому, пошел сам и узнал, что инженер уехал из Москвы в Мценск. На днях отправил заказное письмо на Мценск. И вот отыскиваемый сам явился — получить должное.

Виктор Алексеевич слушал сказку... но это была не сказка, а непостижимо разыгранная жизнью правда. Таившееся за этим было еще разительней.

Недавно Борелиус жил неподалеку, в Мытном. В одну из редких его отлучек квартиру обокрали и унесли все ценнейшее, обшарили и взломали все — и не коснулись парюра. А он лежал на комодике, прикрытый лишь бумажкой. Чудо?..

— Можете думать как угодно. Перейдя сюда, п о к а... я и тут оставил, как было там, где побывали воры. Вот комодик. Как и там, на нем икона святого. У ее края, как было там... вот э т о...

Он поманил гостя. На комодике, к стенке, стоял образ Николая-Угодника, а перед ним — т о.

— Воры были чем-то отвлечены. Не пришло в голову, что тут-то — ценнейшее. Оно было уже назначено. Потому и было охранено, Этот парюр — лучшее, что я создал. Кальвинисты не почитают изображений и не признают святых. Я был... непризнающим. Образ принесла неизвестная, вправить стекляшки в венчик. Отказать я не мог и вправил. Прошло больше трех лет, она не пришла.

Он снял бумажку.

В свете оплывавшей свечи, на лоскуте розового плюша, играли блеском изумительной красоты бериллы-серьги. В лазури бирюзы, охваченной золотым овалцем, вокруг бриллианта-солитера, сиявшего в эксцентре, мерцали ало-зелено-синие искры звезд. Виктор Алексеевич смотрел на чудо оживших самоцветов, на темневший за ними Лик.

— Что же... э т о?.. — спросил он смотревшего на него старца в монашеской скуфейке.

— Чудеснейшая из сказок моей жизни. Что проходит незамечаемое. О чем рассказали нам поэты и письма. О чем свидетельствует нам жизнь... — показал старик глазами на сверканье. — Жизнь — не одна суета Зарядья, где я прожил почти полвека. Каждый черпает из нее своею мерой. Черпните и вы — своей. Вы пришли, и я вручаю вам. За этим вы и пришли ко мне. Я исполнил, что назначено мне исполнить.

За работу он взял умеренно для своего искусства: на остаток дней, в тишине. «У... Николы-на-Угреши?..»- вспомнилось Виктору Алексеевичу, но он не коснулся этого. Уложив сокровище в футляры розового плюша, завернув в ту самую папиросную бумажку, старец вручил и сказал, провожая до ступеньки:

— Желаю благостного.

Виктор Алексеевич вышел, потрясенный.

XLV ИСПЫТАНИЕ РАССУДКА

Долго бродил по улочкам Зарядья. Ощупывал боковой карман: з д е с ь. А эта церковь? Николы-Мокрого. А этот лабаз с рогожами? Московский лабаз. И улица эта — Мокринская. И набережная эта — Москворецкая. Все это — подлинное. А э т о?.. — нащупывал он карман...

И услышал благовест.

Взглянул на часы: без пяти шесть, ко всеобщей. Снял фуражку, не думая, и, впервые — за сколько лет! — перекрестился на бирюзовое небо за рекой. Дошел до церкви. Спросил старушку, какой праздник. «Прохора-Никанора завтра». А церковь? «Николы-Угодника-батюшки».

— Но... как же?.. т а м Николая-Угодника?!.. — показал он, откуда шел.

— Две церкви Угоднику у нас в Зарядье.

Он повернул налево и вышел к Москва-реке. Сел на лавочку у ворот, сообразиться.

Он чувствовал душевную неустойчивость, будто утратил сознание действительности, и ему надо было увериться, что здрав, что все странное, с ним случившееся сейчас, — случилось на самом деле. Он вынул футляры и осторожно открыл. А э т о?.. — спрашивал он глазами бериллы-грушки с вислыми капельками бриллиантов, овалик небесной синевы с мерцающими вокруг солитера звездами. Они отвечали своим сверканьем: «Мы вот». Но как?.. откуда? Он спрятал их, чтобы не путать мысли. Напряженьем воли он заставил себя объяснить себе, к а к все могло случиться... И почувствовал, что разбитые мысли собираются в привычный для них порядок, легко принимаемый рассудком, и казавшееся непостижимым начинает отступать перед постигаемым...

Старик Франц-Иоганн Борелиус?.. Есть, здесь, в Зарядье, — действительность. Алеша... старше его, Виктора Алексеевича, на шесть лет... был, знал знаменитого ювелира лучше его и не раз обращался к нему с заказами. Года тому четыре приезжал, действительно, из Сибири и показывал

прекрасные самоцветы, «сырые» еще, какие скупал у старателей или находил сам в горах и речных долинах. Еще подарил ему перстень с изумрудом?.. «Вот он, этот перстень!..» — посмотрел на руку Виктор Алексеевич. Совершенно бесспорно. И так естественно, что дал заказ Борелиусу «для прекрасной женщины», отобрав лучшее. Значит, и это есть. «Прекрасные» у него менялись часто. Менялся с годами и ювелир, всегда требовательный к себе, по словам отца, — «высокой нравственности». И естественно, что ему претило творить чистейшее — из чистейшего, что было в его материальном мире... — «одухотворенный кристалл, высшее в мире неорганическом!..» — помнилось сказанное старцем, — творить для мимолетной прелестницы, и он откладывал, не слыша вдохновенья. И вдруг... принялся творить. Почему?.. Ну, почему... это область психологическая... ну, изменилось почему-то настроение, стало свободней, забылось, потускнело — для кого назначается!.. Неясность эта вполне объясняется определенными эмоциями-законами, такого сколько угодно в наблюдениях и матерьялах известных психологов. В это время Алеша покончил с собой. Есть. Почему пришло в мысли разыскивать поэта-ювелира?.. Ездил по ювелирам, ничего достойного не нашел... так естественно вспомнил большого мастера, у которого можно найти достойнейшее. И достойнейшее нашлось, потому что оно уже было у него, и очень правдоподобно, что было, и он, Виктор Алексеевич, по праву наследника, и получил его. А что так настойчиво шел к нему, надеясь найти у него что-то о-т о подходящее, вполне понятно: в подсознании оставались письма, приглашавшие что-то о-т о получить, на что тогда не было обращено внимания, но что жило неясно в памяти и ожило, когда понадобилось искать достойное, Тут ничего необычайного нет. Теперь... почему воры не тронули такие драгоценности? Часто бывает, что самое-то важное и ускользает из поля зрения... Наконец, образ на комодке мог подействовать отвлекающе, даже устрашающе... «Да вон, в квартале рассказывали... воры страшились того бутотника, похожего... не переходили в его район!..» — находчиво вспомнилось Виктору Алексеевичу. И потому драгоценности, прикрытые бумажкой, сохранились. Могло ли ворам в голову прийти, что так, на самом-то виду, да еще у образа, под бумажкой... — ценности!.. Ну, так все просто!.. Что старик лютеранин превращается в русского монаха-старца?.. Очень нередкое явление, Сколько приходилось читать и слышать... В Оптиной пустыни, говорят, — Арефа, кажется, говорил? — в каком-то скиту есть могила православного подвижника, бывшего пленного турецкого офицера. И всегда-то несколько странный Борелиус, «с пунктиком», всегда в сказках, всегда в мыслях о «чистоте» и «небе», с годами усложнялся, менялся, ну... душевно углублялся... Во всем этом, бесспорно, есть некая таинственность, некая сложная психологическая правда... но ничего не постигаемого рассудком тут нет... «Да, очень сложное „скрещение путей“, но путей жизни действительной, вот этой! — посмотрел Виктор Алексеевич на извозчика, евшего моченые грушки из фунтика, — самой раз-ре-альной».

Такое пытанье рассудка привело его мысли и чувствования в привычный строй, и он вполне овладел собой. Пахло блинами с луком, и ему захотелось есть. Вернувшись к привычному, он поманил извозчика и приказал «поскорей», обрадовать Дариньку небывало-чудеснейшим сюрпризом.

XLVII СМЯТЕНЬЕ

А в это время с Даринькой случилось нечто, повергнувшее ее в смятенье.

Погода была жаркая, и Даринька, отправляясь за покупками, надела легкое, приятное платье, «сливочно-фисташковое», в каком была на обеде в «Эрмитаже», и модную шляпку с выгнутыми полями.

Коляска спускалась с Кузнецкого. На углу, к театрам, образовался затор, экипажи двигались медленно, стесненные встречной волной от Театральной площади. Пришлось остановиться. Даринька откинулась к подушке, прикрываясь от настойчиво-любопытных взглядов зонтиком. Двигались ландо, коляски с нарядной публикой. Совсем рядом смотрело на нее в упор чье-то черномазое лицо, она смущенно поправилась, поймав себя, показалось ей, в немного свободной позе, и вдруг почувствовала неясную тревогу, — взгляд чьих-то глаз, скользнувший по ней от тротуара. Тротуар был также забит народом, медленно продвигавшимся. Она не успела разглядеть,

кто это смотрит, что-то мелькнуло в мыслях, но как раз двинулась коляска, быстрее, быстрее, и она велела кучеру — в ряды, лавка Кувшинникова. И сейчас же вспомнила, что забыла заехать к половине пятого, как ей сказали, взять на Тверской понравившееся Виктору Алексеевичу дорожное платье в английском магазине, несколько ей широкое, которое обещали переделать срочно, а завтра утром назначено было ехать домой. Пришлось несколько подождать, пока на ней примеряли, — платье было теперь как раз. Теперь в ряды.

Сходя у ступенчатой аркады рядов, она опять почувствовала то же беспокойство, как при остановке у театров, осмотрелась, но не заметила ничего особенного, шел народ, дамы больше. И тут она вспомнила, что, кажется, видела там, на тротуаре, когда остановились экипажи, очень похожего на Кузюмова: его взгляд! Проходя под сводами Рядов, в приятном холодочке, в запахах кумача и мяты, она снова почувствовала, что кто-то на нее смотрит... обернулась и увидела высокого, плотного господина, в белом костюме-пике и в летней широкополой шляпе. Он стоял под сводчатым проходом, боком к ней, просматривая развернутую газету, за которой не было видно его лица. «Кузюмов?.. очень похож...» — подумала. У самой лавки Кувшинникова невольно обернулась. Высокий господин следовал за ней, шагах в десяти, и, когда оглянулась Даринька, приостановился, приподняв шляпу, как бы боялся обознаться. Это был действительно Кузюмов.

— Вот неожиданность!.. — приветствовал он, быстро подходя к ней. — Здравствуйте, как я счастлив... несколько близорук я, мне показалось, что это вы... около Дациаро, когда остановились... Но вы совсем другая в московском воздухе!.. Я не поверил... — говорил он излишне торопливо, не как на Зуше.

Она кивнула, почему-то чувствуя смущенье, видя, как он осматривает ее, «другую, в московском воздухе». Она могла бы ему сказать, что и он тут совсем другой, в какой-то спешке. Она не протянула руки, и он только коснулся шляпы. Спросил, не может ли быть полезен ей чем-нибудь... Она, торопясь, сказала, что так спешит, покупки положат в экипаж, в синодальную лавку еще надо... завтра они домой... — говорила, что пришло в голову, связанная его присутствием. Он слушал молча, почтительно.

— К Кувшинникову мне... — кивнула она, спеша, смущаясь.

— Одну минутку... — мягко задержал он, — я у вас был два раза, заезжал в Ютово... с вашего позволения, и вот... как я рад... неожиданная встреча!..

Она кивнула, проговорив сбивчиво; «Так спешу, извините...» — и быстро вошла в лавку, тут же коря себя, что так неприлично оборвала разговор.

Выбрав для рукоделий по записке, она просила сегодня же отослать в «Славянский Базар», завтра они рано уезжают. У Кувшинникова ее знали, сказали, что через четверть часа доставят. Села в коляску и наказала — в Синодальную лавку, на Никольской.

В Синодальной лавке она почувствовала себя совсем покойно. Все здесь было по душе ей: совсем церковный воздух, пахло кипарисом от разных крестиков, теплилась пунцовая лампада, сияло золотое тисненье священных книг. Пожилой приказчик говорил тихо, покояще. Она дала выписку, что ей надо: разных размеров Евангелия, Псалтыри, молитвенники, поминанья, душеполезные. Для себя взяла «Добротолубие», о чем давно мечтала, и Библию. Попросила — «святое Евангелие, пожалуйста... самое казовое, для подарка». Увидела граненые хрустальные яички, навывбирала разноцветных, — любила с детства. Вспомнила: Четьи-Минеи, полные!.. — и просила тут же все увязать и отнести в коляску, совсем забыв, что гостиница в двух шагах. Всю бы, кажется, лавку закупила. И не ушла бы — так было здесь покойно, благолепно. Ей подали стул, пока все упакуют. Думала об Уютове... всю зиму будет читать, читать... Все упаковали, приказчик велел бережно отнести в коляску, проводил до стеклянной двери с почтительнейшим поклоном.

Выходя, Даринька увидела в стеклянную дверь — Кузюмова! Смутьившись, что он опять здесь, совсем неожиданно сказала: «И вы?..» — и еще больше смутилась, зачем сказала, и почувствовала,

что и он смутился. Он поднял шляпу и извинился:

— У меня в мыслях не было обременять вас своим присутствием... Мне показалось, что я вас... затруднил, предложив чем-нибудь помочь?..

Ей показалось странное что-то в его глазах, — смущение как будто? Мелькнуло, может быть, он обиделся, что она так резко оборвала разговор в рядах. Сказала торопливо:

— Я спешила, недослушала вас... там, у Кувшинникова...

— Помилуйте!.. — воскликнул он, тоже торопясь, выхватил у молодца пакеты и положил в задок.

Помогая Дариньке сесть в коляску, спросил почтительно-осторожно:

— Вы позволите к вам заехать?..

Сразу она не поняла:

— Но мы же завтра домой, и очень рано...

— Не здесь, в Ютове?.. На Зуше вы были добры...

— Да-да, конечно... пожалуйста... — спешила она кончить разговор, — это для солдат, вы говорили...

— Да... — перебил он, держась за край коляски. — Вы помните, сказал я тогда... с вами можно быть только искренним?.. — он как будто старался найти слова- И я с первой же встречи это понял!.. Ваше Ютово для меня...

— Уютово... — невольно поправила она.

— У-ютово?.. как чудесно, У-ю-тово!.. — в восторге воскликнул он.- ...Имело в моей жизни... не могу проезжать мимо без волнения...

«Почему он так говорит?..»-тревожно мелькнуло Дариньке. Он поднял шляпу, как бы прощаясь, и продолжал сбивчиво, торопясь:

— Я понимаю... вам странно, что я так занимаю вас м о и м... но для вас нет чуждого!.. С первых же ваших слов, на том обеде, понял, что... вы так все берете сердцем... так мало я видел людей с сердцем, с т а к и м сердцем!.. И столько пережито... столько обо мне лжи... конечно, рассказывали вам... я не хотел бы, чтобы у вас было обо мне ложное представление!.. Вы дурно думаете обо мне?.. — вырвалось у него как бы против воли. — Было бы очень горько... такое мнение обо мне!..

Эти слова Кузюмов буквально выкинул из себя, и они страшно смутили Дариньку. Она сказала сбивчиво, почти в испуге:

— Что вы, что вы?.. совсем я не думаю о вас дурно!.. Я так мною хорошего слышала про вас...

— Это все ваша доброта... хорошего нечего обо мне сказать... — отмахнул головой Кузюмов, — разве что х о т е л хорошего, да... не вышло!.. Простите, это ни к чему. Так вы позволите?..

— Да-да, пожалуйста... — сказала, оживившись, Даринька. — В это воскресенье у нас гости, путейцы... на новоселье... вы знакомы с ними, и мы будем рады...

Она не могла понять после, почему это вырвалось у нее. Кузюмов воскликнул радостно:

— Позвольте?.. Такое счастье... приветствовать ваше доброе соседство!..

Он взглянул ей в глаза, она почувствовала в его взгляде радостное и что-то горькое — и не нашлась ответить.

— Вам странно, что говорю... и мне, что т а к говорю, совсем неизвестный вам... — спешил он кончить, продолжая держаться за коляску, — но бывает, как т у п и к, трагическое в жизни... Что я?!.. простите, я так бестактно!..

Он растерянно поклонился, резко оторвался от коляски и побежал. Даринька видела, как мелькал в прохожих белый его костюм. «Что с ним?» — подумала она в смятенье и удивилась, что уже у подъезда гостиницы.

Всходя по лестнице, видела в зеркалах, какое у ней истомленное лицо.

XLVIII СКАЗКА О САМОЦВЕТАХ

Виктор Алексеевич уже вернулся и показался ей возбужденным. Он встретил ее на лестнице, восклицая: «Чудо чудное! диво дивное...» — не обращая ни на кого внимания.

— Тебя нельзя оставить одного, ты как ребенок... опять шампанское? когда только кончится кружение это!..

— Дети не пьют шампанское! — весело сказал он, и она почувствовала, что случилось что-то особенное: такой радостью блестели его глаза. — Едва дождался, изнемогал... и велел подать бокал... один только бокал! п ь я н был и до него!..

— Что с тобой? что случилось?.. — спросила она. — Почему... до него?

Все его «доводы» пропали, лишь увидел истомленную Дариньку. В своем «воздушно-легком», с откинувшейся шляпкой, она была такая слабенькая и блеклая и казалась особенно прелестной. Войдя в покои, он взял ее на руки, перенес на диванчик, присел и попросил, если не слишком утомилась, послушать... «одну сказочку». На ее удивленный взгляд, на слабый ее кивок, он стал рассказывать ей «сказку о самоцветах», подчеркивая, особенно подчеркивая чудесное, что только что старался закрыть в себе: знал, как по душе ей чудесное, и хотел видеть ее восторг.

Вначале она слушала рассеянно, но когда дошло до «маслениц», которые он восторженно описал, а он умел рассказывать, — она оживилась и попросила вина. Он дал ей шампанского, она отпила, говоря с улыбкой: «Скоро и меня приучишь», — и взяла его руку. Так и держала, до конца сказки.

— Ты это не нарочно?.. — спросила она тихо.

— Смотри... — сказал он, вынимая светившиеся сквозь бумажку футляры розового плюша, и открыл в свете золотистого абажура лампы.

Самоцветы играли полной силой блеска: бериллы-грушки, с вислыми бриллиантиками, синеночное небо броши, осыпанное мерцающими звездочками...

Она сложила перед собой ладони, смотрела на драгоценности благоговейно, боясь и коснуться их. Он очень просил надеть, но она решительно сказала:

— Нет, надо освятить их... надо принять с молитвой.

Настояла сейчас же пойти в церковь, завтра уедут рано. Переделась в серенькое, и они прошли,

рядом, в Заиконоспасский монастырь. Кончалась всенощная. После Великого Славословия, иеромонах отслужил им в приделе напутственный молебен и литию на помин души раба божия Алексия. Даринька попросила освятить «вот эти вешки». Открыла их на канунном столике, густо уставленном свечками. Иеромонах посмотрел, видимо любясь, и затруднился. Сказал, что справится у отца казначей: «Он у нас магистр, все каноны знает... допустимо ли освящать прихоти человеческие».

Пришел отец казначей, чернобородый красавец, похожий на грека, и тоже залюбовался. Даринька подошла под благословение и сказала:

— Я получила это по воле Божией. Ведь украшают самоцветами облачения и образа... и я приняла э т о как д а р, а не для прихоти.

Виктор Алексеевич был поражен, откуда она нашла в себе такие слова. А он уже готовил вызов: «Пойдем в любую церковь, и за целковый разделают нам по всем правилам!» Но отец казначей, улыбнувшись, разрешил прочитать молитву и окропить.

Вернувшись, Даринька надела драгоценности и гляделась в зеркала при лампах. Ах, дивная игра какая! Виктор Алексеевич восхищался, как играли живые искры, и блеск оживленных восторгом глаз Дариньки скрещивался с игрою самоцветов.

Уже поздней ночью Даринька сказала о Кузюмове, и как она смутилась. Рассказывая, вдруг поняла, что с ним: вспомнила, как находили все, что она страшно похожа на покойную Ольгу Константиновну, и, вызывая портрет, признала, что это правда. «Господи, неужели еще это?..» — думала она в тревоге.

Виктор Алексеевич сказал, что, конечно, лишнее было приглашать Кузюмова на новоселье, ничего у них общего. Но это не так уж важно: не ответят ему визитом, и случайное знакомство кончится.

XLIX «ПРИШЕДШЕ НА ЗАПАД СОЛНЦА...»

Возвращение в Уютово было как бы пробуждением от сновидений. Ехали аллеей, в вечернем свете, и говорили: «Тишина какая...»

Уютово встретило их ласково, все засветилось праздником.

Подарки умилили всех. Листратыч, получив шапку на зиму, ахнул: «Мне-то, за что!» Унылая Поля сказала недоумело: «И меня не забыли...» — а ее никто не помнил. Дормидонт получил Псалтырь. Все получили в меру.

Виктор Алексеевич сказал Дариньке: «Верно Настенька крикнула: „Учись, учись!“ — сколько от тебя радости, тепла!..»

— Когда маленькая была, нищая старушка на богомолье дала мне копеечку, ясную-ясную, новенькую совсем... как я, помню, обрадовалась. Храню ее, и все не темнеет, все такая же ясная.

В радостной суматохе Даринька забыла о ждавшем ее сюрпризе. Юлий Генрих Циммерман все точно выполнил: фисгармония была на месте.

Садилось солнце, огнисто сияли цветники. Даринька любовалась новинками: поздние сорта роз, яркие шпажники, маки, георгины, астры... Били радужные фонтаны. На душе было покойно-светло. Она напевала вечернее — любимое: «...пришедше на за-а-апад со-олнца-а... — солнечную песнь Софрония Иерусалимского, — ви-девше свет вече-рний... поем...» И вот, когда заканчивала возносящим славословием, — «...достоин еси во вся времена петь быти гласы преподобными...» — дошли до нее величественные звуки чудесного хора: в доме играла фисгармония! Изумленная,

она пошла на веранду и остановилась у входа в зал. Играл Виктор Алексеевич, закинув голову...

Она забыла, а он говорил ей как-то, что играет и на фисгармонии. Отец включил даже этот инструмент в программу пансиона. У него успешно учился Виктор. Многое игранное в те годы забылось, но кое-что осталось, из Баха и Моцарта, В этот солнечный тихий вечер пришло ему на мысли обрадовать Дариньку двойным сюрпризом. Полнотонно звучало в высоком зале, в звонко-сухом, обжитом дереве. Он почувствовал Дариньку и обернулся;

— Рада?.. — спросил он, поняв выражение глаз ее.

Она кивнула.

Вспомнив, как она рассказывала, что ее учили в Страстном играть на фисгармонии, он попросил показать, как она умеет, ну, хоть гаммы... Смущаясь, она сыграла, и он увидел, что она умеет. Клапаны и педали еще не обыграны, приходилось делать усилия, но она обошла и проиграла на память «Святой Боже». Он сказал, что она отлично владеет дыханием фисгармонии, будет играть чудесно. Она призналась, что с полгода училась у матушки Мелитины. Когда-то играла канон Великой Субботы, и какой был ужас, когда матушка настоятельница велела ей на Пасхе сыграть этот канон перед самим преосвященством. Кажется, ничего сыграла, владыка благословил ее. Она попробовала припомнить и сыграла «Волною морскою...».

— Ты удивительная!.. — воскликнул Виктор Алексеевич.

Она спрятала лицо в руки.

Кончив играть, она долго смотрела на портрет «тети Оли».

— А это кто?.. — спросила она, показывая на висевший рядом портрет молодого человека.

— Твой отец.

С того часу в жизнь ее вошло новое. Каждое утро она приходила в зал, смотрела... и это было благословением ей на новый день.

Это отмечено в «записке», из псалма:

«...Благослови душе моя Господа... венчающего тя милостию и щедротами. Исполняющего во благих желание твое: обновится яко орля юность твоя...»

L НОВОСЕЛЬЕ

Готовились к новоселью, как к великому празднику: пусть видят гости, что такое ихнее Уютово, — ни Спасскому, ни Кузюмовке не уступит. Все были в суматошной спешке.

После всенощной Даринька зашла к матушке — позвать на новоселье — и одарила гостинцами. Были в неописуемом восторге, отмахивались: «Ну, зачем вы это... ну, это же..!» На обратном пути она присела у овсяного поля, не тронутого еще уборкой. Думала о радости покровских. Отец Никифор прочел ей письмо Кузюмова, с копией важной бумаги — «дарственной»: Кузюмов дарил покровским 6 десятин усадебной земли, что под конопляниками, «сошло на него, — сказал отец Никифор, — а народ говорит: „Это нам Дарья Ивановна счастье такое принесла“». В церкви сейчас особенно низко ей кланялись и обласкивали глазами. Светло было у ней на душе, и не смущало ее теперь, что пригласила Кузюмова на новоселье.

Из Москвы прибыл от кондитера Курсопова старший с двумя подручными — строить парадный стол.

День новоселья был солнечный. Даринька обновила свое синее платье, надела драгоценности. Стали подкатывать на тройках. Прибыл военный оркестр, устроил Карavaев. Привезли огромный «рог изобилия», от Абрикосова, наполненный до излива тонкими сладостями, вручили под грохи труб. Артабеков привез что-то новое, Чайковского. Приветствовали хозяев, дивились на цветники в полном разливе силы.

Хозяева водили гостей, показывали поместье. Все восхищались, называли сказкой. Ручные зверьки и птицы вызвали удивление. Карavaев восторженно говорил, что все это в полной гармонии с хозяйкой, во всем чувствуется присутствие души живой.

Оркестр играл марш, и появившийся старший официант с бакенами объявил, что можно идти к столу. Прибыли в скромной точности «духовные», расфранченные, торжественные.

Стол представлял чудо сервировки, ослеплял блеском хрусталя и серебра, флаконами и бутылками с питием, цветами, «рогом изобилия» на возвышении. Закуска на отдельном помосте была изысканная, богатая. На луговине за домом играл оркестр. И весь этот блеск заливало дыхание пышных цветников.

День новоселья остался для многих памятным. Помимо радушия и пышности, способствовало сему одно обстоятельство, вряд ли случавшееся на современных пирах.

Перед тем как садиться за стол, Даринька попросила батюшку прочесть молитву и благословить трапезу. Он прочитал «Очи всех на Тя...» и благословил яства и питье. Ни у кого от сего не было неловкости, — было по лицам видно. Виктор Алексеевич признавался, что принял это изумленно и благоговейно, «да и все были исполнены „благоволения“, как поминается в молитве».

Вкушали «вдохновенно». Все было на редкость, — показал-таки себя Листратыч. Когда к отбивным, каких и в Питере не едали, подали соус из дормидонтовского гриба, все признали, что это не сравнимо ни с какими соусами Дюссо или Кюба. Гвоздем обеда явилось сладкое: не что, золотисто-розовое, в башенках-куполках, бисквитно-пломбирное, ледяное, с малиной и ананасами, с льдистыми шариками, хрупавшими во рту, изливавшими шампанское и ликеры... — совершенно исключительное — «вкусовая некая поэма». Вызывали «автора». Заставили-таки прийти упиравшегося Листратыча. Он явился, недоуменный, страхась чего-то, в полном своем поварском параде. И Даринька хлопала ему в ладоши. Гости тут же собрали «премию». Листратыч был растроган. Даринька забылась, воскликнула: «До чего же чудесно, Господи!..»

Возглашали здравие и благоденствие.

Музыканты купались в пиве. Гремели марши, упоительно пели вальсы, — гремело Уютово торжеством.

Перед каждым прибором стояло по серебряной чарочке с резным начертанием, чернью: «Уютово, июль, 1877». Хозяева просили гостей принять эти чарочки на память. Это заключило трапезу новоселья. Чарочки вошли в легенду. Старожилы и по сие время вспоминают, рассказывая о прошлом: хранят как редкость.

На луговине пировали уютовцы, ямщики и музыканты. Заправлял Карп. Потом говорили в городке:

— Пять бочек одного пива выпили!.. Вот дак «у-ютили»!..

LI ВЫСОТА, ЧИСТОТА, НЕДОСЯГАЕМОСТЬ

На площадке был сервирован чай. Лежали в лонгшезах, курили, благодумствовали. С высоты веранды господин в бакенах возгласил:

— Павел Кириллович Кузюмов!..

А Кузюмов уже сходил по ступеням, барственный, элегантный, голубовато-стальной, в шикарнейшей панаме, только входившей в моду. Его встретили криками «ура» и аплодисментами. Он приостановился, в недоумении... Было в этой «встрече» и от обильного обеда, но, главное, — от «благородного жеста», о чем уже разгласилось.

Кузюмов подходил, приветливо улыбаясь, что шло к нему: не было ничего тяжелого и темного, что приписывалось ему в рассказах. Почтительным поклоном приветствовал он хозяйку, склонился к ее руке. Поклонился отчетливо и отцу Никифору, и это произвело впечатление. Официант нес за ним на серебряном подносе великолепную хрустальную вазу с орхидеями редкой красоты; другой нес столик, в мозаике из цветного дерева, — высокого искусства. Поздравив хозяев с новосельем и пожелав благоденствия, Кузюмов просил Дарию Ивановну благосклонно принять цветы. Даринька была очень тронута вниманием и просила садиться, показав около себя. Кузюмов опустил в плетеное кресло и, с наклоном головы, принял от нее стакан чая. Сейчас же выразил восхищение всем, что видел:

— Ваши цветники — сказка. Сколько вкуса!..

— Но это... все... покойная владелица Ютова... — сказала Даринька. Кузюмов наклонил голову.

— Вы преемственно продолжаете.

— Но я и цветочка не посадила... — сказала искренно Даринька, — это все ученый садовник, ее... его считают... как это?.. — забыла она слово. — Ах, да... гениальным.

— Гений творит, вдохновляемый... Теперь... — он приостановился, тоже как будто подыскивая слово, — вы вдохновляете.

Согласился с Виктором Алексеевичем, что, действительно, — «цветочная симфония».

— Это напоминает... кажется, у Жуковского?.. сказочный сад, где играли золотые и серебряные яблочки... и там — Жар-Птица...

И тени усмешливости не было в его тоне: он был явно изумлен всем, до господина в бакенах, поднесшего спичку к его сигаре.

Даринька, не думая, как примет это Кузюмов, неожиданно сказала:

— Как обрадовало меня вчера... сколько людей сделали вы счастливыми, подарили

покровским землю!.. Они все за вас молятся, я знаю.

Этого не ожидал Кузюмов! Он изменился в лице, чуть побледнел, заметили. Тотчас поднялся и поклонился хозяйке.

— Благодарю вас, Дария Ивановна, но... такая оценка совсем не по заслугам. Счастливыми?.. Помилуйте, я совершенно тут ни при чем... это лишь запоздалое исправление ошибки прошлого. Я ровно ничем не поступился.

И перевел разговор на полученное оказией письмо из Одессы, от «милого Димы Вагаева».

— Ему лучше?.. — спросила Даринька.

— Вы угадали, настолько лучше, что в конце августа надеется ко мне проездом... Узнав, что мы

соседи, просил передать вам «самый горячий привет». Оказывается, он отлично с вами знаком по Москве?..

Даринька не нашлась ответить, но помог Виктор Алексеевич, бывший в отличном настроении:

— Ну, как же!.. отлично знаком!.. на наших глазах т о г д а... выкинул штуку на бегах... попал на гауптвахту... действительно сорвиголова!..

Принимая от Дариньки печенье, Кузюмов воскликнул изумленно:

— Какое чудо!.. — и спохватился: — Простите бестактность, но... это совершенно изумительно, ваша брошь!.. Ничего подобного и у венецианских мастеров... это выше Челлини!.. Даже в Ватикане не... Это головокружительной высоты и глубины!..

Решительно Кузюмов был совершенно иной, чем его славили. Все смотрели. Но смотрели не на него, а на Дариньку, на ее парюр. Она поникла, как бы смотря на брошь. Она и раньше чувствовала, как останавливали взгляды на чудесном, но не высказывались. Только Надя с матушкой разахались давеча: «Боже, какое на вас... чудо!..» Теперь все начали выражать восторг. Даринька едва владела собой, чтобы не убежать.

Тут вмешался Виктор Алексеевич, еще больше смутив ее: стал рассказывать о «чуде с самоцветами». Он был в возбуждении от тостов, от всеобщего восхищения, — был в ударе.

Рассказывал, как Дариньке в «Славянском Базаре», чуть ли еще не с большим увлечением подчеркивая чудесное, веря сам.

Все были захвачены его рассказом, чувствовали... — это после и высказалось иными, — что в этом необычайном происшествии главным чудом была о н а: она была как бы поднята над всеми, отмечена как достойнейшая, чистейшая.

Ни слова не произнес Кузюмов, ничего не прибавил к «бестактности», которая, видимо, подействовала на него сильно: он сидел, наклонив голову, как бы погруженный в мысли, помешивая холодный чай.

— Подлинное чудо!.. — воскликнула Надя, когда закончился рассказ о самоцветах.

Вышло так искренно, что никто и не улыбнулся. Только отец Никифор сказал, качая головой:

— А, ты, стремига-опромет!.. Хотя... для верующего тут действительно явное проявление Высшей Воли.

Виктор Алексеевич после досадовал, что позволил себе такую откровенность. Даринька ему пеняла: «Зачем т а к о е... перед всеми!..»

После вдохновенного рассказа всем хотелось посмотреть поближе. Пришлось снять брошь. Даринька сделала это очень неохотно, шепнув Виктору Алексеевичу: «Не позволяй коснуться...» Он положил драгоценность на ладонь и показывал на некотором отдалении, с виноватым видом. Даринька сидела как на иголках. Это почувствовал Кузюмов. Восторгались, разгадывали «идею броши». Караваев определил за всех:

— Ясно, господа!.. Идея- небо: высота, чистота, н е д о с я г а е м о с т ь.

Кузюмов тихо сказал:

— Простите. Я не думал, как это может отозваться.

Она молчала.

Стемнело. Смотрели «световую беседку» Дормидонта. Вокруг озера зажглись в траве бенгальские огни, и в их свете стала воздвигаться хрустальная радужная сень, струящаяся, вся из фонтанных струй, как из хрустальных нитей. Даринька вспомнила сон в Москве: «Все живое, и все струится». Звали Дормидонта, но лишь услышали из темноты: «Все это пустяки!»

Жгли фейерверк. Музыканты — трубили славу. Ямщики, разогретые вином, пели «Не белы снеги...». Новоселье закончилось.

III ЧУДЕСНЫЙ ОБРАЗ

Нет, еще не закончилось.

Гостей просили подняться в комнаты. Караваев сыграл Шопена, — в лесном отшельничестве он занимался и музыкой. Кончив играть, он огласил, что сейчас наш несравненный Артабеша исполнит новый романс Чайковского. Раздались бурные аплодисменты.

Весь день Артабеков был взволнован, его калмыцкое лицо было бледней обычного, вжелть. Такое с ним бывало, когда он особенно в ударе.

— Господа!.. — возгласил. Караваев, раскрывая ноты, — вы почувствуете сейчас, как э т о созвучно со всем, что пережили мы сегодня здесь.

Артабеков стал у фортепиано. Но тут произошло странное. Караваев откинулся на стуле...

— Дарья Ивановна!.. — воскликнул он, и в его возгласе слышалось изумление. — Как гениально передал художник... неуловимое в вас!..

— Это не я... — чуть слышно отозвалась Даринька, — э т о... — не находила она слово, — д р у г а я...

— Не вы?!.. — воскликнул Караваев, взглядываясь в портрет, висевший сбоку от фортепиано, над фисгармонией.

Произошли движения, подходили, смотрели на портрет, на Дариньку. Повторилось случившееся у чайного стола. Поняв по испугу в ее глазах, как ей тяжело, Виктор Алексеевич хотел «закрыть все это» и подтвердил, что это портрет госпожи Ютовой. Это еще больше возбудило любопытство. Стали сличать. Было поражающее сходство в глазах, неповторимое. Сличали, восторгались. Даринька сидела бледная, недвижимая.

Что это — д р у г а я , п о в т о р е н и е той, от которой были в очаровании, делало особенно чудесным этот «случайно открытый образ».

В раме окна, в безоблачно-лазурном небе, стояла светлая, юная, взглядывалась чуть вверх. Она была в открытом у шеи пеньюаре, в уложенных на голове косах. Лицо — чуть розоватой белизны, девственной, с приоткрывшейся нижней губкой, как у детей в тихом удивленье. Радостно-измученные глаза, большие, голубиные... — небо сияло в них.

Даринька не видала, как сидевший в дальнем углу Кузюмов подошел к портрету, смотрел напряженно... резко повернулся и быстро отошел в угол, где было слабо освещено.

— Шурик, ради Бога прости!.. — воскликнул Караваев.

Шум в зале прекратился.

ЛШ «БЛАГОСЛОВЛЯЮ ВАС, ЛЕСА...»

«...на слова из поэмы гр. А. К- Толстого „Иоанн Дамаскин“... „Благословляю вас, леса...“, новый романс Чайковского...» — дошло до слуха Дариньки.

Она знала житие Иоанна Дамаскина, помнила и это место из поэмы. Эти стихи были близки ее душе, — благословенное чувство радования, легкости и свободы, когда хочешь обнять весь мир, — то душевное состояние, которое Чайковский, в надписании на своем портрете, определил словами «Высшая Гармония».

Взволнованность певца была столь сильна, что голос его вначале был как бы истомленным.

Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды...

Пауза... и вот в музыке, в голосе пахнуло простором далей, и дух почувствовал себя на высоте, свободным...

Благословляю я свободу
И голубые небеса.

И Даринька увидела небеса, лазурный блеск их, как росистым утром.

И посох мой благословляю,
И эту бедную суму...

Она почувствовала легкость в сердце, как когда-то, в детстве, когда ходила с узелком к Угоднику, который ждет их далеко, в лесах... увидела бедных, идущих с нею, с посошками, с сумами...

вспомнила шорох черствых корок и запах их... и яркую земляничку, совсем живую, ее пучочки, ее живые огонечки, пахнувшие святым, Господним... видела даль полей, мреющий пар над ними...

И степь от края и до края,
И солнца свет, и ночи тьму.

Чистые звуки песнопенья, раздольный голос певца вызвали в ней далекое и слили с близким; радостно осияло солнцем. Она увидела, как западает солнце пунцовым шаром за дальними полями... — а вот уже ночь и звезды...

И одинокую тропинку,
По коей, нищий, я иду...
И в поле каждую былинку,
И в небе каждую звезду.

Благословенное радование, певшее в звуках, познанное росистым утром, переполняло сердце, и она почувствовала, что это от Господа, с в я т о е.

В сладостных слезах, она видела только светлое пятно, как золотое пасхальное яйцо, в сиянье. Не сознавала, что это от золотистого шелка лампы: певец, в белоснежном одеянии, являлся ей в озаренье светом. И услышала певшее болью и восторгом...

О, если б мог всю жизнь смешать я,
Всю душу вместе с вами слить!..

О, если б мог в мои объятья
Я вас, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!..

Увидела протянутые руки — к ней, ко всем, за всеми...

Последние звуки фортепиано, полная тишина... — и в эту тишину вошли мерные удары сковородки, от Покрова. Такая тишина — мгновенья — высшая награда артисту от им плененных, взятых очарованием. И вот — гром рукоплесканий.

В этом бурном плеске, когда певец еще стоял в золотистом озаренье, Даринька подошла к нему и, взяв его руки, сказала, смотря сквозь слезы в его глаза:

— Как я... благодарю!..

Она сияла: сияли ее глаза, берилловые серьги, ночное небо броши. Артабеков получил высокую награду. Его лицо озарилось, до красоты, и, смотря ей в глаза, он сказал, в восторге:

— Вы подарили мне миг счастья.

LIV ПУТИ В НЕБЕ

Было к полуночи, но не собирались уезжать: уютно чувствовалось всем, легко, свободно. Молчаливый Кузюмов оживился. На ужин не остался, — в угловой накрывали холодный ужин. Благодарил за чудесный вечер. «И... трудный», — сказал он, прощаясь с Даринькой. Уехал под музыку и бенгальские огни.

Говорили, как Кузюмов переменялся, совсем другой... Все были в легком опьянении. Караваяев играл «лунную сонату». Надя увела Дариньку на веранду.

— Он неузнаваем... так перемениться!..

— Может быть... ошибались в нем?.. — сказала Даринька, вспомнив, что сказал в Москве Кузюмов, как лгут о нем.

И еще вспомнила, как тетя Оля ездила в Оптину, и батюшка Амвросий сказал на ее тревогу, что Кузюмов может покончить с жизнью, если она ему откажет: «И без нас с тобой спасется... придет часок». Вспомнив это, и как сличали портрет с нею, она поняла, что хотел выразить Кузюмов словами «и... т р у д н ы й». Не было в ней ни смущенья, ни тревоги, а грусть и жалость.

Закусывали у стола, будто на станции... — «на Тулу... второй звонок!..» Пили за дорогих хозяев. Сковородка пробила глухой час ночи. Давно прокричали первые петухи. Пора и ко дворам.

Кто-то крикнул с веранды:

— Глядите!.. в небе что-о!..

Высыпали на темную веранду.

В небе, к селу Покров, вспыхивали падающие звезды, чертили линии, кривые. Казалось, взлетали далекие ракеты. Зрелище было необычное, хотя каждый видал не раз падающие звезды: это был «звездный ливень». Звезды чертили огненные свои пути. Пути пересекались, гасли. Иные взвивались до зенита, иные скользили низко.

— Виктор Алексеевич, вы ведь и астроном... что это, научно точно, — «падающие звезды»?.. — спросил кто-то.

Виктор Алексеевич сказал:

— Только гипотезы... точно неизвестно. Может быть, пыль миров угасших. Это лишь кажется, что все являются из одного угла: они из беспредельности...

— В конце июля... сегодня как раз 30-е... их путь скрещивается с земной дорогой, в созвездии Персея... вон, к Покрову!..

Кто-то спросил:

— Пути их постоянны?

Виктор Алексеевич не мог сказать: тысячелетия, в одну и ту же пору, из той же части неба... — «видимо, постоянны, по установленным законам...»

— А кто установил им пути?.. — спросила в темноте Даринька.

— Этим астрономия не задается. На это наука не дает ответа. Никогда не даст. Э т о — за пределами науки, область не знания, а —?..

— Почему же «никогда»?!.. — кто-то возразил, — принципиально наука беспредельна!..

— Относительно. Наука — мера. Можно ли б е з м е р н о с т ь... мерой?!.. — как бы спросил себя Виктор Алексеевич. — Тут... — он махнул в пространство, — другое надо... я не знаю!..

Это «я не знаю» вышло у него резко, раздраженно.

— Мысль бессильна... постичь Б е з м е р н о е!..

Молчали.

— Надо быть смелым: разум бес-си-лен пред Б е з м е р н ы м! — воскликнул Виктор Алексеевич.

— Надо... в е р о й?.. Лишь она как-то постигает Абсолютное. Другого нет...

И почувствовал, как Даринька схватила его руку и прильнула. Этого никто не видел.

Тихо было. Звездный ливень лился. Бесшумно, непреложно тянулись огненные нити неведомых путей, к земле и в небо, скрещивались, гасли.

Тут случилось маленькое совсем, вызвавшее чей-то смех.

— Но в этом маленьком, — вспоминал Виктор Алексеевич, — для нас обоих было столь большое, что спустя столько лет я еще слышу этот потрясенный голос.

— Премудрость!.. глубина!!.- крикнуло из цветника, из тьмы.

— Это наш Дормидонт, садовник!.. — вскрикнула Даринька.

Отъезжали с бенгальскими огнями, бряцали колокольцы, трубили, отдаляясь, трубы.

Все затихло. В доме огни погасли. Даринька сказала:

— Посиди, я принесу тебе. Было суматошно эти дни.

Виктор Алексеевич остался на веранде. Смотрел на падавшие звезды. Усиливался «ливень». Все рождались из созвездия Персея, в той стороне, где теперь спало село Покров.

Вторые петухи запели. Начали в Зазушье, гнездовские, Потом перекаатилось к Покрову. А вот — уютовские, громче.

Виктор Алексеевич смотрел, прислушиваясь к крикам петухов. Вспоминал мартовскую ночь, когда перед его душевным взором дрогнуло все небо, вспыхнуло космическим пожаром, сожгло рассудок... и он почувствовал б е з д о н н о с т ь. Ярко вспомнил, как т а м, в не постижимой мыслию глубине, увидел тихий, постный какой-то огонечек, чуточный проколик, булавочную точку света... о, какая даль!.. — и, в микромиг, ему открылось- не умом, а чем-то... сердцем?.. — «надо та-ам?.. за этим, беспредельным... искать Н а ч а л о?!.. где — т а м?.. Но т а м — в с е т о ж е, т о ж е, как это разломившееся небо!.. дальше н е л ь з я, з а к р ы т о Т а й н о й».

Теперь это «закрото Тайной» он принимал спокойно. Смотрел и думал: «...из созвездия Персея, где Покров... все вместе, в с е — о д н о, р а в н о перед Безмерным... Покров с Персеем, петухи, отмеривают время... н а д о т а к?..»

Той же ночью записал в дневник, влил в меру:

Побеждающей
Предела нет Безмерной Воле,
Число и мера в Ней — одно:
И Млечный Путь, и травка в поле,
Звезда ли, искра... — в с е — р а в н о:
Все у Нея в Безмерном Лоне:
Твоя любовь, и ты сама, —
Звезда Любви на небосклоне, —
Светляк — и солнце. Свет — и тьма.

Пометил: «В ночь на 31 июля, 1877. Уютово, Звездный ливень».

— Вот, Витя... от меня, тебе.

В и т я... Это слышал он в первый раз: другую ласку, ближе.

— Это... что?.. — спросил он, принимая в темноте.

— Евангелие. Лучше не могу тебе. Тут — в с ё.

— В с ё... — повторил он.

— В с ё.

С того часу жизнь их получает путь. С того глухого часу ночи начинается «путь восхождения», в радостях и томленьях бытия земного.

Март 1944 — январь 1947

Париж

КОММЕНТАРИИ

Первый том романа вышел в парижском издательстве «Возрождение» в 1937 г., второй — в том же издательстве в 1948 г. В 1946 году первый том был переведен на французский язык, а в 1965 году, уже после смерти автора, — на немецкий и издан в Вене.

Первый том писатель заканчивает в 1936 г., еще при жизни жены, которой он и посвящает роман. Об этой книге специалист по русской литературе, читавший о Шмелеве лекции в Берлинском университете и написавший о нем книгу «Тьма и просветление», известный философ, профессор И. А. Ильин пишет: «Во всем своем творчестве Иван Сергеевич принимает человеческое страдание, болеет его, но несет его к осмыслению, одолению, освобождению. Он ищет исхода

для страдания и указывает этот исход... „Пути небесные“ — книга, не похожая ни на какую другую, ибо это книга „о самом важном“. Прочтя ее, чувствуешь, что жить можно светло, проникновенно, радостно, как на Пасху в детстве, только нужно- не отталкивать от себя небесные пути (как учит главная героиня романа Даринька)». (Цит. по сб. Ю. А. Кутырной «Иван Сергеевич Шмелев». Париж, 1960, с. 16.)

Над вторым томом романа Шмелев работал большей частью во время второй мировой войны в Париже. Вот отрывок из его письма П. Д. Долгорукову, датированного 31 марта 1941 года:

«...Помаленьку продолжаю работу свою. Голова кружится от бездонности, когда думаю над „Путями небесными“. Захвачен, но порой чувствую трепет — удастся ли одолеть. Столько лиц, столько движения в просторах российских: ведь действие теперь в романе — поля, леса, поместья, городки, обители, а всего главное — ищущая и мятущаяся душа юной Дариньки и обуревающие страсти — борьба духа и плоти». (Цит. по сб. «Памяти Ивана Сергеевича Шмелева». Мюнхен, 1956, с. 118.)

В письме молодому литератору зарубежья М. С. Рославлеву, датированном 24 сентября 1943 года, Шмелев пишет: «... пока жив, пишу... — и сам дивлюсь. Написал шесть глав второй части „Лета Господня“... Еще одна глава, и будет завершено. А все — бомбы!.. А там вложусь и в „Пути небесные“. Уж как хочу п и с а т ь, как!» И тому же адресату несколько позже: «Париж, 14.6. 44... Жизнь тесна, тревожна, жестока, зла, безумна! Единственное прибежище — о. Господь, не смею повторять, это прибежище в с е г д а! — р а б о т а! Но как трудно уйти в нее! Ведь до 7–8 „тревог“ на дню во всей этой тревоге. Все же медленно, отрываемый, ползу. Написал шестьдесят страниц „Путей небесных“... Как все это — как бы „по ту сторону“. Это как бы н е б о, а влачишься в прахе...» (Цит. по сб. «Памяти Ивана Сергеевича Шмелева». Мюнхен, 1956, с. 51–52)